

Цена 80 коп.

Василий Елесин РАМЕНЬЕ

К 1045312

ВАСИЛИЙ ЕЛЕСИН



РАМЕНЬЕ

**ВАСИЛИЙ ЕЛЕСИН
РАМЕНЬЕ**





ВАСИЛИЙ ЕЛЕСИН

РАМЕНИЕ

ПОВЕСТЬ
И
РАССКАЗЫ

АРХАНГЕЛЬСК
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1986

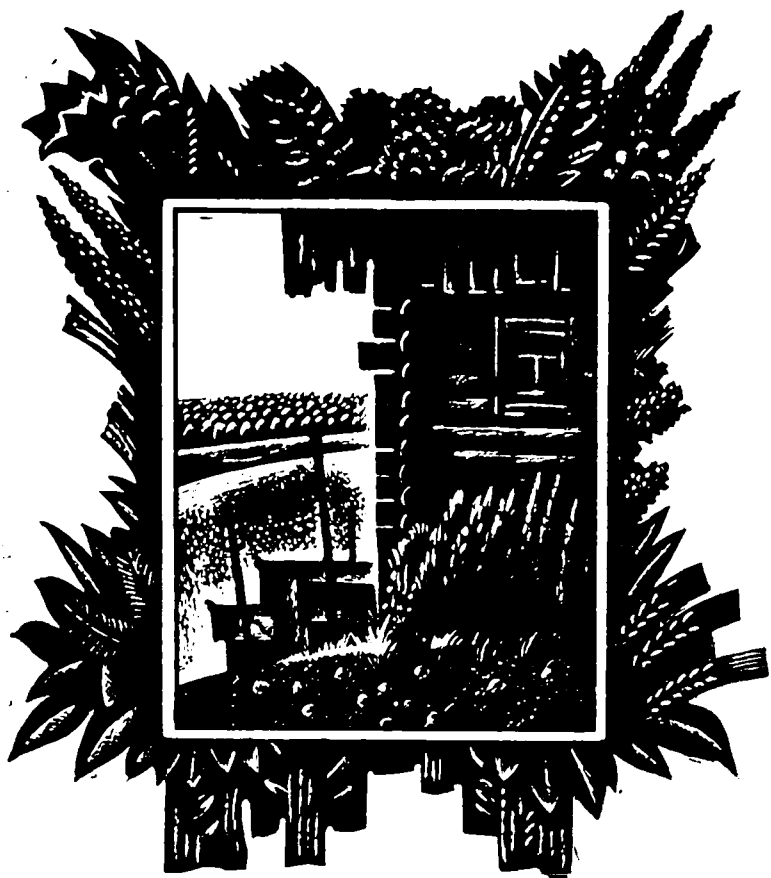
P2
E50

Елесин В. Д.
E50 Раменьё: Повесть и рассказы.— Архангельск: Сев.-Зап.
 кн. изд-во, 1986.— 186 с.

В литературу Василий Елесин вошел как автор книг для детей — «Пятачок на берегу», «Одноухий заяц», «Кремешок». Свою новую книгу, которая выходит к пятидесятилетию писателя, В. Елесин обращает к взрослому читателю, оставаясь верным теме северной деревни. Ей посвящены включенные в книгу рассказы и повесть «Раменьё».

Е 4702010200 11—86
 M157(03)—86

P2
ББК 84Р7



РАССКАЗЫ

СТАРЫЙ ДОМ

Дом стоял не у подножья холма и не на вершине его, а посередине, будто усталый старец, у которого не хватило сил дойти до цели. Он и впрямь был похож на старика, немощного и седого: фасад по подоконники вдавился в землю, заколоченные окна бельмами уставились на дорогу, черная крыша местами поросла плесенью и уродливо сгорбилась. Тучная зелень скрыла следы тропинки, и не понять было, с какой стороны раньше подходили к крыльцу, на котором угнездились теперь кусты молодой крапивы.

Первое время Александр Михайлович бессознательно обходил стороной ссутулившийся и одичавший дом. Родной дом... Мать никак не решалась продать его, хотя давно не жила в деревне, а он, большой и крепкий человек, был бессильным перед грудой трухлявых бревен. Сегодня он тоже не собирался идти к старому дому и не пошел бы, если бы не попал с утра в правление колхоза.

Председатель принял его сухо, кивнул на стул, не прерывая разговора с парторгом. Говорили они о том, сколько тракторов и машин надо перебросить во вторую бригаду, чтобы скорее кончить силосование. В кабинет то и дело входили люди, здоровались с Александром Михайловичем и, казалось, тут же забывали о нем. Минут через двадцать председатель споткнулся глазами о его фигуру, равнодушно спросил:

— У вас что-нибудь срочное? Нет? Извините, совещание животноводов собираем сегодня. Некогда...

Отвернувшись, он снова занялся своими делами, всем видом показывая, что ему сейчас не до праздных посетителей.

Александр Михайловичу стало неловко, оттого что мешает занятым людям; он осторожно поднялся и пошел к двери. Никто не остановил его.

Сейчас здесь, у старого дома, Александр Михайлович даже слегка покраснел, вспомнив про утреннее тщеславное чувство от намерения предложить председателю свои услуги на время отпуска. Ногой сбив с крыльца самый большой кустик крапивы, он присел на прокаленные солнцем крепкие еще плахи. Напротив крыльца сиротливо торчал кол, чудом уцелевший от невесты когда разобранного огорода. Поодаль, посреди бывших картофельных грядок, трепещущим зеленым шаром распустилась береза. Сколько он помнил себя, береза всегда была такой: веселой и крутобокой.

Дом отец собирал сам из сруба, купленного в дальней деревне. И теперь, сидя на крыльце, Александр Михайлович чувствовал вину перед отцом за то, что не мог, как он, перебрать этот дом по бревнышку, вставить новые рамы, заменить стропила и крышу. Не мог, если бы даже захотел, потому что давно забыл, как держат в руках топор.

Стало вдруг неуютно. Резко поднявшись, Александр Михайлович торопливо сошел с крыльца и побрел прочь, сутулясь, путаясь в густой траве и не смея оглянуться. Мнилось: оглянись — и увидишь, как старый дом обиженно щурится своими незрячими глазами.

Дорога, спускаясь с холма, круто изгибалась и мимо сельповского магазина уходила к реке. Александр Михайлович в раздумье постоял у магазина, потом поднялся по шербатым ступенькам и потянул на себя тяжелую, выкрашенную синей краской дверь. Внутри было сумеречно, прохладно. Несколько старух стояло в очереди у прилавка. Они, как по команде, повернули головы на скрип двери. Взглянула на вошедшего и продавщица, держа на весу совок.

— Здравствуйте, — стесняясь приветствовал их Александр Михайлович.

— Здравствуй, батюшко, — ответила одна из старух.

Как ни странно, Александр Михайлович не увидел ни одного знакомого лица. «Чего ж тут странного, — успокоил он себя. — Семнадцать лет не был в родных местах». Но, поймав пристальный взгляд продавщицы, неожиданно подался вперед.

На лице женщины мелькнула растерянность, губы

задрожали в жалкой, недоверчивой улыбке, однако глаза вспыхнули, и в их искрящейся голубизне Александр Михайлович явственно прочел: «Вспомнил?» Он смешался, опустил голову и, неловко потоптавшись на месте, быстро пошел к выходу. «Наташа. Наташка! Вот так свиделись...»

Александр Михайлович шел, не разбирая дороги, а в памяти вставало далекое осеннее утро, которое он встретил на жнейке близ Наташкиной деревни Рябушихи. Мотали головами лошади. Деловито крутилось мотовило, пригибая к ножу белесые с желтизной стебли. Солнце вышло из-за гряды волокнистых облаков и бросило нежаркий поток света на высокие сосны, что красовались на другом конце поля. Вот там-то, у сосен, и заприметил Сашка мечущуюся девичью фигурку и с десяток проворных белолобых телят. Взбрыкивая задними ногами, телята ловко уклонялись от своего пастуха, разбегаясь в густом ячмене.

— Ты что, полоротая! — гаркнул на девчонку Сашка и побежал выгонять телят.

Вдвоем они выдворили веселых бычков за ветхую изгородь, и только тогда Сашка признал в телятнице свою бывшую одноклассницу.

— Наташка! Я-то думаю: кто это скотину на траву пустил. А сказывали — уехала ты из деревни...

— Как уехала, так и приехала.

— Не поглянулось в няньках-то?

— Да ну тебя. Не в няньки и ездила, а к дядьке в Воркуту. Думала в техникум поступать.

— Не поступила?

— Сам видишь.

Наташа вскинула глаза на Сашу, и того вдруг с ног до головы обдало жаром. Будто прирос к месту.

— Чего стоишь? Кони, поди, заждались.

— Погодят. Приходи на игрище к нам.

— На твою пляску глядеть?

— А хоть бы и на мою.

— Не стоит дорогу топтать. Иди, иди. Вон председатель, даст он тебе пляску!

Саша вразвалку, не торопясь, пошел к жнейке, часто оборачиваясь, а она все стояла на дорожке: стройная, в белом платочке, из-под которого сбегала на грудь русая витая коса.

Много лет спустя Александр Михайлович попытался вызвать в памяти тот солнечный сентябрьский день, чтобы хоть мысленно перенестись в него из своего прокуренного, осточертевшего кабинета в управлении. С отворачиванием оттолкнул грудю сводок, откинулся на спинку стула, прикрыл глаза... Но в уши лез назойливый гул и скрежет тяжелых машин, идущих по шоссе. Взглянув на свои белые дряблые руки, тяжело лежавшие на столе, Александр Михайлович как-то особенно отчетливо понял, что молодость ушла. Не вернешь, хоть криком кричи...

С Наташей они потом встретились на воскреснике. Он еще опоздал тогда...

Девчонки у скотного двора высмеяли его:

— Долго спишь, жених!

Они ловко орудовали вилами, кидая тяжелые пласты пахучего навоза на тракторные сани. Отшучиваясь, Саша отобрал у кого-то вилы и азартно вонзил их в сочную, перемешанную с соломой массу, с удовольствием ощущая, что мускулы его упруги и крепки, что сам он молод и свой среди этой шумной стайки девушек, с которыми еще недавно вместе воровал горох в колхозном поле.

Когда сани были нагружены, Сашка, будто невзначай, подошел к Наташе. Она стояла раскрасневшаяся и довольная, капельки пота мелко поблескивали на крутом лбу.

— И ты пришла?

— А я что — рыжая?

— Ты не рыжая. Красивая ты, — сказал он совсем тихо.

— Не ври, — она смутилась и покраснела.

— Поедем сгружать?

Наташа кивнула. Трактор, урча, дернулся. Все, кому хотелось прокатиться в поле, повскакали на сани, держась за черенки вил. Из-за рева трактора не было слышно ни слова, и девчонки, перестав шушукаться, принялись толкаться. Улучив момент, они навалились на Сашку и сбили его с саней. Падая, он успел ухватиться за Наташину телогрейку и, сопровождаемый дружным смехом, рухнул в сугроб вместе с девушкой.

— Вот уж теперь я тебя не отпущу!

Наташа, отбиваясь, изловчилась и бросила ему в лицо горсть снега. Но он прижал ее всем телом и, не

отряхиваясь, жадно припал губами к ее яркому смеющемуся рту.

— Бессовестный! Девки вон смотрят, — вырвалась наконец Наташа.

«Как хорошо было! И как давно... — вздохнул Александр Михайлович, опускаясь на травяной пригорок у реки. Потом усмехнулся: — Вишь, как тебя разобрало. Чуть не до слез. Знала бы Скворцова!»

Скворцова — так он называл жену, сухую и желчную даму, — жила с ним больше восьми лет, но он не помнил, чтобы она хоть раз за эти годы приласкалась к нему или, на худой конец, прослезилась, пришла в ярость. Детей у них не было, и, может быть, потому просторная городская квартира напоминала Александру Михайловичу учреждение. Каждое лето его тянуло оторваться от надоевшего казенного духа квартиры, от опостылевшей стильной мебели, над которой тряслась жена. В долгие часы одиноких раздумий он все чаще тосковал по лесу, по луговым просторам, по вольным речным плесам, но до нынешнего года так и не собрался поехать в деревню.

К реке подбежала ватага мальчишек. Еще на ходу стащив с себя рубашонки, штанишки, они с визгом и смехом кинулись в воду.

«Собрался-таки. Приехал. Все передо мной: и детство, и юность. И родина. Взять да остаться? К чертовой бабушке и квартиру и... Брось! — тотчас перебил себя Александр Михайлович. — Хватился! Не сможешь ты, брат, жить теперь в отцовском доме. Ведь ты просто-напросто ничего не умеешь: ни сеять, ни косить, ни бревна тесать. И топорщица не насадишь, и веника не свяжешь! Даже телевизоры ремонтировать не устроишься, потому как ателье в райцентре, а до райцентра сорок верст, — он горько улыбнулся. — Вот как отомстила мне деревня. Уйти было непросто, а вернуться... Вернуться куда труднее. Видно, как ни привязывай отломленную ветку к дереву — не прирастет».

Он с завистью наблюдал за ребяташками, потом поглядел вдаль, на три старые березы, будто шагавшие друг за другом по берегу.

Так же шагали они и в эту неестественно светлую ночь. Мягкий туман кипел над речной ложбиной, и с

травы скатывалась холодная и крупная роса. А на дорожке дышала теплом сомлевшая к ночи пыль.

Когда он бережно поцеловал девушку, она прильнула лицом к груди, попросила чуть слышно:

— Не надо... больше, — и, словно извиняясь, добавила: — Я ведь первый раз так. Как с тобой...

— Наташенька! Вот уедем мы с тобой отсюда...

— Уедем? Куда?

— Как куда? В город. Только бы справку достать! Чего мы тут забыли? По двести граммов на трудовень?

— Может, полегче будет, Саша. Боязно мне. Недолго в городе и пожила, а как-то зазябла вся. Каждый денечек речку нашу вспоминала. И дом здесь, и отец с матерью...

— Да ты подумай путем! Учиться там можно. Институт закончить. А тут? Жизнь свою загубить около телят? Ведь мы с тобой молодые. Хоть на людей поглядеть!

— Кабы только поглядеть... А то ведь жить надо. Слегка касаясь, он гладил ладонью ее тяжелую косу.

— Все равно возьму вот я тебя сейчас, Наташка, да и унесу за тридевять земель в тридесятое царство!

— А может, и унесешь... Ты вон какой сильный!

«Эх, ошиблась ты, Наташа! — подумал Александр Михайлович. — Не нашлось во мне такой силы. Да и любовь, наверно, я только выдумал. На деле все проще оказалось: с глаз долой — из сердца вон. А я тогда уверен был, что прав. Хотелось на свет поглядеть, себя показать. Да и голодно было в деревне — что верно, то верно. Что ж, повидать успел многое. И грузчиком поработал и подсобником на заводе, и у станка. Десятилетку вечернюю окончил, институт. Все, как запланировано было. Только полюбить ничего не сумел. Видно, права тогда была она, Наташка: зябну я в городе...»

Александр Михайлович представил длинный Суворовский проспект, по которому тысячи раз проходил из дома в управление и обратно. Зимой вдоль проспекта дул ледяной ветер, летом обдавали гарью бесконечные вереницы автомобилей. И всегда стоял грохот.

Чтобы избавиться от не доставившего ему удовольствия видения, Александр Михайлович встал и спустился с пригорка на мост. Мысли его снова обратились к прошлому.

Хоть и собирался он расстаться с деревней, но по-

кинул ее как-то неожиданно и нелепо. Приехал в гости Мишка Буркин. Ну и... Даже сейчас, через столько лет, он поморщился, вспоминая, как все произошло.

Плясали прямо у стола. Мишка лез целоваться.

— Поехали, Саш! Устрою! Как сыр в масле... Вот! Ты мне верь!

— А чего? Поеду! Я давно собираюсь.

— Верно! Как сыр...

В самый разгар гулянки Саша потихоньку выбрался из избы и заспешил в другой конец деревни, откуда неслись переливы гармошки и девичьи песни. Наташа уже ждала его, и они, оторвавшись от всех, направились по теплой пыльной дороге за реку, в бор. Присели под раскидистой, в два обхвата сосной.

— Надумал я ехать. С Мишкой.

— В Сибирь?! — охнула Наташа.

— А что? Обещает без документов устроить. Огляжусь, паспорт. выправлю, комнату найду. Приедешь тогда?

— Куда же я теперь без тебя?.. — пряча слезы, де-вушка прильнула к нему.

Захмелев от вина и от жарких поцелуев, Сашка опрокинул ее на землю...

Через два дня он уезжал с Мишкой. Наташа, провожая, плакала на виду у всех, и у Сашки заныло в груди от жалости к ней.

Мишка сдержал слово.

— У нас, паря, стройка такая, — сказал Сашке мастер, когда они вдвоем допивали вторую поллитровку, — что справку твой колхоз по нашему запросу с ходу пришлет. А пока можно и так. Вкалывай, ладно. Сделаем!

Но не повезло ему. На третий же день не уберется: сорвавшейся балкой перебило правую руку. Три месяца провалялся в больнице. Только когда стали шевелиться пальцы, послал Наташе одно за другим четыре письма и не получил ответа. Лишь через полгода мать написала, что Наташа вышла замуж и уже ждет ребенка.

Александр Михайлович вздрогнул. Мысль, которая только что мелькнула, неожиданно поразила его своей простотой и значимостью: «Ведь это первая любовь у меня была — Наташка. Ее-то мне и не хватало всю жизнь, только ее!»

Он снова остро, всем существом ощутил мучительное желание повернуть время вспять, хотя и понимал, что не может сделать этого, как не может по бревнышку перебрать старый, завалившийся отцовский дом. Но наперекор всему он торопливо, словно боясь опоздать, пошел обратно к магазину.

— Пришел все-таки? Ну, здравствуй, Саша! — продавщица протянула через прилавок небольшую, крепкую руку. — Постой здесь, я магазин закрою, на обед пора.

Она вышла на крыльцо, невысокая, плотная, погребела снаружи замком. Появилась она с противоположной стороны, из склада, пристроенного к магазину.

— Как это надумал приехать-то? Сколь годов не бывал, а тут — на-ко! Еле узнала. Постарел... Садись вот хоть на ящик.

— Да ты не беспокойся, Наташа. Я так, на минутку. Знакомых в деревне почти не осталось. Новостей за семнадцать лет накопилось много, а и рассказать некому. Дай, думаю, хоть к Наташе зайду, — Александр Михайлович говорил каким-то ненатуральным голосом и совсем не то, что надо было, — это он чувствовал и от этого терялся еще больше, не зная, как вести себя. — Как ты-то живешь?

Наташа неторопливо сняла передник, поправила волосы.

— Живу. Как все, так и я. Мужик трактористом в колхозе, а я тут восьмой год верчусь, что белка в колесе. Сейчас вроде полегче стало, детки выросли, помогают...

— Много их у тебя?

— Сын да две дочки. Меньшая-то в пятый класс перешла, а старший, Сашка, в десятый пойдет на осень.

— Как же ты не дождалась меня, Наташа? — спросил Александр Михайлович дрогнувшим голосом.

— Чего уж теперь вспоминать. Горько мне те месяцы достались, Саша, ох, горько! Что только не передумала! Ни строчки ведь ты не написал, как в воду канул...

— В больницу я попал сразу, как приехал. Руку сломал.

— После-то узнала, письма твои пришли. Кляла себя, да уж поздно было.

— Три месяца не могла выдержать? — Александр

Михайлович сел на порожний ящик, чувствуя, как в груди закипает что-то нехорошее, злое.

Наташа отвернулась, зачем-то подошла к двери, потрогала ее и, повернувшись, сказала сурово:

— Не хотела тебя расстраивать, да видно придется. Тяжелая я после тебя осталась. Знала бы, где устроилась, приехала бы сразу. В деревне-то оставаться стыдобушка: девка, только-только семнадцать стукнуло, а нагуляла, успела... Ой, да что это с тобой?

Александр Михайлович, откинувшись на штабель ящиков, бледный, широко хватая ртом воздух, шарил рукой по груди...

— Ничего, ничего, Наташа. Отпустило. Сердце. Прости...

— Дура я, дура старая! Бухнула! Дай-ка виски потру... Может, пройдет.

— Уже прошло. Бывает это у меня, — соврал Александр Михайлович.

— Досталось, видно, и тебе в жизни-то...

— Еще как! — слабо улыбнулся он и почти приказал:

— Рассказывай!

— Все я тогда передумала. То ли уехать куда? То ли аборт сделать? А иной раз наревусь да и на веревку запоглядываю... Тут и подкатился Толя-то мой. Любил он меня шибко, покрыл девичий грех. Сашка и не знает, что отец у него не родной. Только свадьбу сыграли — и пошли от тебя письма. Я плачу, Толя переживает, молчит. Всего было...

Наташа оперлась спиной о прилавок. Она все еще была хороша, лишь первые тонкие морщинки тронули высокий и чистый лоб, да коса не сбегала по-девичьи на грудь, а короной улеглась на голове.

Александр Михайлович встал, шагнул к ней, положил руку на плечо.

— Столько лет молчала... Намучилась. Ох и дурак же я! Ох и дурак! Но это же просто здорово, это замечательно, Наташа! У меня — сын! Сын! А может, еще не поздно, Наташа?

Она медленно покачала головой.

— Поздно, Саша. Поздно. И не думай о том. Дети большие. Им-то за что страдать? Пусть уж будет, как есть. Знаешь — и ладно. Уехал бы ты, а? — с тоской спросила она.

— Уехать? Теперь? — Александр Михайлович отшатнулся. — Не смогу я теперь уехать, Наташа, пойми, не смогу! На все соглашусь: молчать буду, к дому твоему близко не подойду, только не гони. Некуда мне теперь ехать...

День сменялся вечером, когда Александр Михайлович вновь подошел к старому дому. «Найду плотников, — размышлял он по дороге, — лесу достать колхоз поможет. Еще до осени можно привести все в жилой вид. Работа? Много ли мне надо на жизнь? В крайнем случае пойду в школу преподавать физику».

«А ты представляешь, — словно шепнул ему вдруг его же недоверчивый голос, — какое это будет мучение: жить рядом с ними — и ни слова, ни взгляда. Сын будет проходить мимо окон равнодушный, чужой. Вынесешь ты эти мучения, эту боль?»

«Да! — яростно ополчился он на сомневающийся голос. — Да! Зато — мое мучение, моя боль! И она в миллион раз дороже безликого, равнодушного прозябания. Может, и беда моя в том, что всю жизнь сторонился, избегал лишних эмоций. Никому и никогда не отдам я теперь мою боль, потому что в ней — и моя радость!»

Но когда кривая тень старого дома поглотила его, возбуждение схлынуло, и Александр Михайлович ощутил тягостное беспокойство. Подсознательно он уже понял, что уедет отсюда, и от этого предчувствия как-то устало, по-стариковски дрогнуло сердце.

ВСТРЕЧИ С ВАЛЕНТИНОМ ЗОЛИНЫМ

Из-за неурочного паводка пропал клев на обычно рыбной реке. Откочевав километра два болотистым берегом, я смотал удочку и еле продрался сквозь залитый дождем ивняк на луговину. Далеко справа за луговиной чернел лес, слева жался к молодой березовой поросли пропитанный влагой сеновал, увидев который, я надумал отдохнуть, а заодно и переждать непогоду под крышей.

Положив удилище на вколотенные в стену сеновала деревянные колышки, я вошел внутрь, присел на умятое прелое сено. Квадратный дверной проем, будто рама, окаймлял безрадостную картину: грязно-серое небо, безучастно нависшее над луговиной, и нечеткие пятна прибрежных кустов. Не доносилось ни звука, кроме шелестящего шепота дождя.

Вдруг рядом с сеновалом отчаянно громко залаяла собака. По тонкому визгливому голосу можно было определить: лает не зверовая животина, а заведомая дворняжка, из тех, что очертя голову бросаются на своих и чужих. Через минуту черный с белыми пятнами кобелек в две четверти росту подскочил к порожку сеновала и залился еще злее и чаще.

— Шарик, свои! Нельзя, Шарик! Кыш, сотона! Оду-рел! — закричал, приближаясь, человек в броднях, ватнике и серой брезентовой фуражке.

Шарик, словно застеснявшись, завилял хвостом, отвернул морду в сторону.

— Что, под крышу загнало? — вместо приветствия добродушно спросил незнакомец. — Льет и льет нонече, прямо спасу нет.

Он снял ватник, резко встряхнул его одной рукой. Вторая висела плетью, и по скрюченным пальцам я догадался, что рука перебита.

— На фронте? — показал я глазами на руку.

— Там,— равнодушно ответил он и, бросив ватник на сено, повернулся к собаке:

— Шарик! Ну-ко, сбегай, побрани Серегу-то! Чего он, срамник, отстал!

Шарик нехотя выбрался под дождь, и скоро у кромки ольшаника зазвенел визгливый лай, словно собачонка и впрямь бранилась.

— Ловко! — засмеялся я.

— Шарик-то? Он такой! Беспорядку не любит.

Не успели мы покурить, как Шарик снова перепрыгнул порожек сеновала и, поверотясь к замаячившей неподалеку фигуре, незлобиво твякнул два раза.

— Молодец, Шарик, побрани, побрани его, заброду. Ты где потерялся-то?

— Да вишь, на волнушки набрел, жалко показалось оставлять. Тут, что ли, посидим, Валентин, или уж домой заодно?

— Погоди, охлони маленько.

Серега, как назвал его мой собеседник, оказался рослым и плотным мужчиной лет за пятьдесят. Круглое лицо и одежда выглядели деревенскими, но говор выдавал горожанина.

— А раньше-то мы, Серега, волнух не ломали. Все больше рыжики. Не забыл? — Валентин повернул голову ко мне. — Тридцать семь годов срамник дома-то не бывал,— кивнул он на Серегу. — Как на войну ушел, так и не бывал.

— Что ты, Валентин, меня все «срамник» да «срамник»! — проворчал Серега. — Какой я тебе срамник?

— А ты не сердись! — захохотал Валентин, показывая желтые зубы. — Присловье у меня такое, чего поделаешь! В войну у нас старшина все эдак бранился. Хороший мужик был: чтобы там по матушке али как, не было и в заведенье. Наварзаешь чего, только и молвит: «Ой ты, срамник!» От него, видно, ко мне и перекинулось слово-то.

— В каких частях воевали? — любопытствовал я.

— А в пехоте! Оно, кабы не в пехоте, может, и не было бы экой оказии. — Валентин чуть согнул в локте левую руку, словно показывая ее. — То и дело-то, что, как годы подошли, вызвали меня в военкомат, да и определили в пехоту-матушку. Не больно и слушали в ту пору нашего брата. А тебя так, Серега, поди, спрашива-

ли: не желаешь ли, товарищ Березин, в летчики али в штаб фронта пойдешь?

— Спросят, держи карман! — улыбнулся Серега. — Забрили да с ходу под Ленинград. Я еще и винтовку настоящему в руках держать не умел. Тощий был, как скелет.

— Шкилет, форменный шкилет! — подтвердил Валентин. — А помнишь, как на окопы-то гоняли?

Серега сосредоточенно кивнул.

— Погнали нас на окопы за Вытегру, — обращаясь ко мне, начал рассказывать Валентин. — Всю молодежку из деревни загребли, баб, девок. Прибыли. А там какая кормежка? Одно название. Четыре месяца эдак-то и пластались, покудова по домам не выпустили. Народ кругом поехал, через Череповец да через Вологду, а мы с Серегой надумали пешком. Напрямую-то много ближе. Вот и потопали. А зима, снег, мороз, обутка худая, одежонка в дырах, грязи на нас, вшей! Брюхо подвело... Сколько суток мы с тобой, Серега, шлепали — трое?

— Четверо.

— Вишь, четверо. К озеру Воже, как сейчас помню, к вечеру выбрали. Куда податься? В Чаронду тоже не близко, да и от дому в сторону, а за озером наш рыбпункт, свои мужики, деревенские — хоть покормят. Решили брести через озеро, на ночь глядя. А темно, студено, ветер по льду большую силу набирает. Да и боязно, чего говорить! Серега и в ту пору выше меня был, но верно — шкилет. Ползем это мы, шатаемся с голодухи на ветру...

— То один запнется да свалится, то другой, — вставил Серега.

— Ну! — подтвердил Валентин. — А Серега и говорит: «Давай я тебе, Валька, руку на шею положу, может, полегче будет». — «Клади», — отвечаю. Идем дальше, все против ветра, к своему берегу. Серега просит: «Давай посидим!» — «Нет, — говорю, — сядем, так и не встанем, околеем». А он все свое: «Давай посидим!»

Серега смущенно улыбался, словно стыдясь своей тогдашней, сорокалетней давности слабости.

— Уговариваю его всячески: то побранюсь, то добром. Потом говорю: «Давай-ка мы лучше с тобой споем песню!» Какое уж там пенье, смех один, а больше вы-

думать нечего — последнее средство. И запели! Какую песню-то запели, Серега, не помнишь?

— «Если завтра война...»

— Во-во! И ведь дошли! С песней-то. Стоим у рыб-пункта, колотимся... Дедушка Илья спрашивает: «Кто такие?» — «Свои, — отвечаем, — деревенские, с окопов идем». Пустил он нас, у печки на лавку посадил, забе-гал: «Сейчас вас, робятушки, покормлю». Пока за ка-пустой в сарай ходил, мы, как приткнулись на лавке-то, приклонились друг к дружке и задали храпака.

— Сутки разбудить не могли, — добавил Серега.

— Верно! Потом уж дедушка Илья выговаривал: «Отчаянные вы головы! Ну-ко, ночью через озеро! Толь-ко что перед вами волки среди бела дня лошадь на льду задрали на глазах у рыбаков. Бог вас спас, не иначе!»

— А нам все едино, кто спас, — главное, живы! — за-ключил Серега. — Бог ли, леший ли — все едино.

— Вчерась бабка Дуня на лешего-то наторкну-лась, — засмеялся Валентин, круто меняя тему разго-вора. — Закружилась в лесу, бродит-бродит и все по одному месту. Перепугалась. Стоит да приговаривает: «Что ты, дедушко-батушко, ко мне-то почто привязал-ся? Уходи-ко с богом!» Встала под елку, сарафан сня-ла, наизнанку вывернула да так и одела. Сразу на по-скотину и попала — рядом и была.

— Бабка Дуня из ума выживает, вот ей и блаз-нит, — сказал Серега, поднимаясь. — Вроде посветлело маленько. Может, ближе к дому?

— И то дело! — Валентин потянулся за ватником. — Все одно не косьба седни.

— А вы что, до сих пор сенокосите? — удивился я. — Летом не удалось на корову накосить?

— Какая корова при моем-то здоровьишке! Овчишек держу, да и на тех сена не заготовил по нынешнему лету, — пояснил Валентин. — Раньше хоть рódная помо-гала, а ноне тоже ноги отказали — что хошь, то и делай.

— Кто это — «рódная»?

— Матушка моя. Вдвоем с ней перебиваемся, два инвалида. У меня пенсия военная, у нее — колхозная, да огородишко, да овчишки... Шарик! Ой ты, срамник! Ну-ко, сбегай, побрани-ко Серегу! Вишь, опять его в кусты понесло, не намокся еще!

Шарик резво кинулся вперед, и вскоре из кустов донесся его звонкий голос.

— Не изловил никого? — в свою очередь спросил у меня Валентин, кивнув на удочку.

— Клевка не видел! — пожаловался я.

— Ты как-нибудь к плотине сходи. Язенка, может, спроворишь. Я все там их обманываю.

Вечером я обмолвился о встрече на сеновале своей хозяйке, маленькой и светлой старушке, неутомимо хлопотавшей по дому.

— Это, поди, Валька Золин! — догадалась она. — С маткой вдвоем живет уж сколько годов. Сряжался одпнова жениться, да матке невеста не поглянулась, не дала согласия, а он ослушаться не посмел. На матушку-то свою, ровно на икону, молится, все «рѳдная» да «рѳдная». Той-то почто бы тоже перечить? Поля баба баская, урядливая. Так и живут: дома рядом, а не вместе.

— Что ж, эта Поля за другого вышла?

— Какое! Живут оне с Валькой-то. Не расписаны, а живут. Она в своем дому, он — в своем. Валька-то все Полю уговаривает: потерпи да потерпи, поживем на два дома, неохота рѳдную расстраиывать.

— А Поля одна живет или со стариками?

— Одна, батюшко, одна...

...Я не рассчитывал увидеть Золина, когда рано утром, натянув бродни и вскинув удочку на плечо, спешил к плотине. Однако он уже стоял там, легко держа одной рукой длинное удилище. Солнце резко очерчивало его небольшую тень на синей воде и влажной от росы гальке. По широкому омуту ниже слива плотины важно кружились белые пузыри, среди которых не просто было разглядеть поплавок золинской удочки.

— Вставай рядом, — поздоровавшись, негромко сказал Валентин, — все веселее вдвоем-то.

— Давно здесь? — так же вполголоса спросил я.

— С уповодок.

— Ничего?

— Попусту! Да я своего язенька дождусь. Я ведь их на измор беру. Закину да и стою до упора. Он сперва мимо ходит, срамник, вниманья не обращает. Потом сердиться станет: что, скажет, за оказия такая — вертятся червяки да и только. В ину пору со зла-то еще и носом ткнет и давай ходить кругами. Кружит, кру-

жит — плюнет. Видно, скажет, этот мужик не отвяжет-ся, надо брать. И возьмет!

Мы оба посмеялись над шуткой, но «стоять до упора» у меня не хватило терпения, и, постепенно переходя с места на место, я оказался довольно далеко от Валентина — там, где омут тугим и сильным потоком втягивался в реку.

— Попался, разбойник! — донесся громкий крик от плотины.

Я оглянулся, прикрывая глаза ладонью от ярко бьющего солнца, Валентин вываживал крупную рыбу. Спотыкаясь о гальку, я подбежал, когда крупный, с золотистым отливом язь уже был в руке у Золина.

— Обманул?

— Обманул, парень! Будет уха!

Я снова пристроился рядом, упрекая себя за нетерпение.

— Ну-ко, дедушко, пошли-ко еще рыбинку! — не то шутя, не то серьезно произнес Валентин, закидывая удочку.

— Какой дедушка? — не понял я.

— А в омуте которой! — улыбнулся Валентин, но улыбнулся так лукаво, что я опять не разобрал, обратился он к «дедушке» в шутку или всерьез.

Решив проверить свои подозрения, спросил:

— Как, по-твоему, Валентин, бабку Дуню и верно нечистая сила кружила в лесу?

— Кто его знает. Может, и дедушко.

— Неужто ты в него веришь?

— Да как не поверишь? Многие видали.

— А сам видел хоть раз?

— Нет, мне не попадал. Вот Миколка-Топ, Федора Бахвалова сын, с им хаживал.

— Не может быть!

— Хаживал, хаживал Топ. В деревне-то все так парня и звали: Колька-Топ да Колька-Топ. Прихрамывал, вишь, бойко бегать не умел. Одинова отец его на сенокос взял, а день ядреной задался, сено на глазах сохнет. Вот Федор и посылает: «Сбегай, Колька, домой, приволоки новые грабли». Колька топ да топ, а старик торопится, время не ждет, загребать надо, — вот и гаркнул ему вдогон: «Да понеси тебя леший скорее-то!»

Колька в ту пору у огорода был, у осека. Как сиганет через огород — и здоровому эдак-то не выпрыгнуть. И пропал. Федор вечером домой прибегает. «Кольки не было?» — «Не было». — «Ой, ведь неладно у нас с парнем-то!» А Колька близко к ночи пришел, сам не свой, глаза дикие, одежда рваная. Стали спрашивать, что да как. «А за огород так не помню, как и перенесло. Гляжу — передо мной дедушко стоит: маленький, сивой, лыком подпоясан. Пойдем, говорит. Ну я с ним и пошел». — «Так один был-то?» — спрашивают. — «Нет, — отвечает, — с нами много народу ходило. По лесу все шли, по буреломине, речки сколь раз перебрадили. Коли маленькая речка попадет, так дедушко возьмет за волосье да и перекинет на тот берег. А коли большая река, так сам поперек ее ляжет — мы и идем, как по мосту. Потом я огород увидел да рукой за него и захватился. Сзади как зашумит, зашумит ветром! Чую, елки с кореньями выворачивает, да все и сгнуло. Тут я поскотину свою узнал да и потопал домой».

Невероятно! Конец двадцатого века, люди собираются на Марс, пятиклассники спорят о тайнах Бермудского треугольника, и — нате вам! — дедушко, самый тривиальный леший, лыком подпоясанный. Смеется он надо мной, что ли? Я пристально посмотрел на Золина. Валентин спокойно встретил мой взгляд, голубые глаза его снова лукаво улыбались. «Разыгрывает!» — успокоился я, хотя какое мне в сущности дело — верит Золин в лешего или нет.

Валентин ловко пристроил удище на камнях и присел на облизанный водой валун.

— Все-таки, — не унимался я, — если верить в него, как в лес ходить? Страшно! Вдруг покажется!

— Да почто страшно-то? — удивился Валентин. — Дедушко в лесу порядок любит. На шальное не делай, вот и не страшно. Страх, он ведь от чего идет? От худой совести либо опять же от дурости. Вон у нас Семен Назаркин одинова шел по лесу с лопаткой, что косу-то наставляють, да на медведя на сонного и попал. Так чего и сделалось с мужиком: на загривок медведю заскочил, давай лопаткой по башке колотить. Медведь ошалел, в кусты шарнулся, орет благим матом. Семен, конечно, свалился, домой побежал. А на другой день волосье у него с головы и полезло пластами, чисто колено голова-то стала. От запоздалого страху,

Войну тоже возьми. Помню, мы и на передовой еще не бывали, обучались в лагере... Одинова поднимают утром всю роту, построили, повели. В лес зашли, а там весь наш полк выстроен. Вытолкнули перед строем двоих парней и читают нам по бумажке постановление трибунала: за дезертирство приговорить к расстрелу по законам военного времени. Им, вишь, срамникам, на передовую страшно показалось идти, струсили да и подались ночью в тыл. Вот лопаты им в руки сунули — копайте. Копают тихонько. Ну, тяни не тяни — конец известный. Поставили на краю ямы, напротив взвод автоматчиков. Один не устоял, свалился, ползает по земле со страху, как червяк, голову в траву зарывает. Другой тоже зеленый, а стоит. Взводный крикнул: «По изменникам Родины! Огонь!» И все. В яму кинули, закопали как падаль. Я возьми да на себя и прикинь: вот бы я убежал? Ну ладно, расстреляют дурака, а домой-то какую бумагу пошлют? Не напишут, что «пал смертью храбрых!» Выходит, не только свою совесть замараешь, а и у всех родных до скончания веку! Нет, думаю, лучше уж от немецкой пули умереть, чем от своей. А оно и верно, когда совесть чиста, страху помене — это уж потом я точно узнал, на передовой. Так и в лесу. Коли худого за собой не чувствуешь — чего бояться?

— Мне что интересно: если ты в лешего веришь, значит и в бога веришь? А замечаю, не молишься...

Валентин от души расхохотался:

— Дался тебе дедушко! Я ведь не знаю, может, и нету ничего. Только иной раз подумаешь: не должно того быть, чтобы все кругом на самотек пущено...

Скоро Валентин стал сматывать удочку.

— Приходи на уху! — неожиданно предложил он. — Али дела какие?

Я отрицательно покачал головой.

— Вот и я говорю: отпускник, так какие у него дела-заняття? Лови рыбу, вот и все дела. Часок побулькаешься, да и приходи, в аккурат уха сварится.

Бесплодно промаячив у плотины часа полтора, я подался на уху к Золину. Дом его стоял на отшибе: небольшой, плотно обшитый вагонкой, затененный по фасаду длинноногими березками. Вся усадьба обнесена косым огородом. В пяти шагах от крыльца серел сруб колодца, а за краем картофельных грядок приткнулась

небольшая банька. У просторного хлева белели плотные поленницы березовых дров.

В дверях золинской избы оглушил лай двух собачонок. Одна из них сразу же смолкла после окрика Валентина, а Шарик еще долго «бранил» меня, не обращая внимания на упреки хозяина.

Места в избе оказалось немного. Крохотная прихожая с лазом на лежанку и с кроватью у окна отделялась от «чистой» комнаты узенькой дощатой переборкой, оклеенной выцветшими обоями. В «чистой» комнате к другой переборке, загораживающей маленькую кухню, привалился диван. В углу на столике мерцал темным экраном телевизор «Рекорд». Стол, стулья, невысокий комодик, на котором лежала пачка старых журналов «Наука и жизнь», — вот и вся обстановка.

Из кухни, тяжело переступая больными ногами, выплыла низенькая старушка с круглым белым лицом и внимательными строгими глазами. Она степенно поздоровалась, опустилась на краешек дивана. Я ждал обычных в таких случаях вопросов о том, к кому приехал да откуда родом, где живу и сколько зарабатываю, однако старушка сидела молча, с безучастным, как бы отсутствующим видом. Подумав, что явился не вовремя, я хотел было подняться, но Валентин, уловив это движение, махнул здоровой рукой:

— Погоди-погоди, я сейчас!

В своем доме он несколько переменялся: стал суетливее, чаще сыпал словами, то и дело обращаясь глазами к матери, словно спрашивая, то ли он говорит. Поставив на стол большое блюдо ароматной ухи, Валентин нарезал хлеб, ловко управляясь с ножом и буханкой одной рукой.

— Давай, родная, садись, ушка-то горячая, славная! — ласково уговаривал он старушку.

— Сяду я, сяду, ешьте сами-то! — ответила она, с трудом вставая и придвигаясь к столу. Несмотря на немощь, на маленький рост и немногословие, от нее истекла сила и властность. Невольно вспомнив рассказ о несостоявшейся женитьбе Золина, я вдруг поверил, что Валентин и впрямь не пойдет против материнской воли.

— Давно в этом доме живете?

— Да как Валька с войны-то пришел, перерубил старую избу, так все тутока и живем, — ответила старушка.

— А рóдная велела: «На что, — говорит, — нам эку хоромину, надо бы поменьше срубить, все потеплее». Вот и занялся с мужиками. Лесу на подруб привезли, старый дом раскатали, стали строиться. А время было — вспоминать неохота. Ладно я еще лесником работал, на зарплате, да и налоги помене. Вон сосед наш, помнишь, рóдная, Гришу-то Крутикова, который в Воркуту уехал?

— Да как не помню!

— Шебутной мужичок, веселой! Одинова барана погонил на мясозаготовку. В те поры мясо сдашь, сколько с тебя присчитается, бесплатно, а коли сверх того, так деньгами доплачивали. Вот ему и дали за баранато пятерку. Сунул ее в кошелек, поехал домой. Приехал, а в избе два агента сидят, налог собирают. У тебя, говорят, Григорий, недоимка. А он и полушубка снять не успел. Сел на лавку, руками развел: «Вот оказия! Чтобы вам, робята, раньше-то прийти! Позавчера полный пестерь денег-то корове вывалил на подстилку. Сыро больно в хлеву, пришлось вывалить, а теперь вот и нету нечего. Вот оказия! Много ли недоимки-то?» — «Пятьсот рублей.» — «Гли-ко — пять сот! Что бы вам на два-то денька пораньше! Ну ладно, я вот за барана седни получил, так уж возьмите!» И вытряхивает, срамник, пятерку-то на стол...

— Это какие же годы?

— Да сорок восьмой ли, сорок девятый, не помню. В те годы и отбили у мужика охотку в колхозе-то работать. Ведь до чего дошло? Я этта, рóдная, Мишку Назаркина встретил у кладбища, на овсяном поле. Из лесу идет. Поздоровался. «Давай, — говорю, — закурим». — «Ну, давай». А овес — зелень-зеленью, я и скажи: «Не вызреет нонече, все пропадет». А он мне: «Пропадет, так и леший с им! Привезут, однако, хлеба-то. Вот на корову не накосили — так худо!»

— Ишь, прохвост! — осуждающе покачала головой старушка.

— Думаешь, одни деревенские так-то? — обратился уже ко мне Валентин. — Не-ет. Я, к примеру сказать, с туристами согрешил. Едут и едут к озеру, да все у моего сеновала палатку ставят. Им чего: видят — сено сухое, надергают и под палатку, и к кострищу, замнут, затопчут, а того в уме нет, что накосить да высушить его по нонешнему лету не больно просто. Когда захва-

чу — побранюсь, а сено-то не воротишь. Знак уж на берегу ставил: «Обработано ядохимикатами, опасная зона!» Вроде помене стало, а все нет-нет да и ночуют, срамники.

Слушая Валентина, старушка согласно кивала головой и вдруг склонилась под стол, протягивая кошке рыбки кости. Я теперь только обратил внимание, что живности в избе прибыло. Кроме Шарика и Дамки — так звали вторую собаку, — у стола сновали три разномастные кошечки: рыжая, черная и серая.

— Большое у вас хозяйство, — кивнул я на них.

— Пусть! Родная их любит, да и мне веселее.

Собачонки вновь сорвались с места и беззлобно залаяли у порога. Впрочем, лай тут же смолк, и в дверном проеме показалась рослая, крупная женщина.

— Молодец, Поля, прямо к ухе поспела! — сорвался с места Валентин. — Разоболокайся, садись!

— Что ты, что ты, некогда мне! На двор собралась. Хлеба вам принесла, шла мимо магазина дак.

— Недолго ложку ухи хлебнуть, — повернулась к ней и старушка, но Поля наотрез отказалась.

— Нет-нет, недосуг.

Валентин проводил ее, о чем-то пошептался в прихожей, потом оба вышли в сени.

— Что ж, Валентин так и не женился? — не без задней мысли спросил я у старушки.

— Жена вот и приходила, — просто ответила она. — Я ему все долдоню: уйди к Польке-то, да живите по-людски! Нет, ему, вишь, сюды привести надо. Грех один только...

Она, поджав губы, уставилась в окно.

— Ведь я, родная, угадал! — весело сказал Валентин, проходя в комнату. — Кругом заоболочило, сейчас польет! Утресь косить посылала, — пояснил он мне. — А я говорю: попусту, дождя нагонит. Так и есть.

— Не зря, видно, меня все утро ломает, — согласилась старушка. — Идти, полежать маленько...

Она с трудом поднялась и, шаркая ногами, убрела в кухню.

— По рыжики не бывал у нас? — спросил Валентин.

— Мест не знаю — какие рыжики!

— Давай свожу, как охота. День все одно пропащий, может, хоть соленинки принесем.

Я с готовностью согласился, так как много слышал

о необыкновенных грибных угодьях озерного края. Для очистки совести спросил:

— Не зальет нас?

— Какое! Вишь, затянуло. Моросить станет. А и лент, так не сахарные, не размокнем.

— И то правда, — подтвердил я, натягивая бродни.

Валентин перекинул через плечо сплетенный из бересты короб на ремне, а мне протянул небольшую узорчатую корзинку. Шарик юлил у ног, чуть не переламываясь пополам, — просился в лес.

— Возьмем Шарика, возьмем! — проговорил Золин. — Ой, что делает, срамник! Охота в лес? Ну пошли давай!

Грибов в тех местах, куда повел меня Валентин, и в самом деле росло много. Правда, на пять-шесть рыжиков попадался только один ядреный, но все-таки корзина час от часу тяжелела. У приболотья наткнулись на семейство темных крепких грибов.

— Черные грузди, — сказал Золин, сломив гриб и разглядывая его. — Я их раньше не знал, все пинал, как попадут. А начальник один из району приехал... Меня все с начальством в лес посылают, как кто приезжает, — пояснил он с заметной гордостью. — Гляжу: ломает их да в корзинку, ломает да в корзинку. Я ему и скажи: «Почто берете-то? Ведь это поганки!» А он мне: «Сам ты поганка! Это — самолучший гриб!» Так и сказал: «Сам ты поганка!» — с удовольствием даже заключил Валентин, будто начальник объявил ему благодарность.

Корзинка почти наполнилась, когда мы, изрядно промокшие, выбрались на светлую вырубку, вопреки обыкновению чисто прибранную. Сплошные дождевые тучи снова раскололись, пропустив в прогал солнце и клочок пронзительно синего неба. От одежды, от разогнутых бродней повалил пар.

— Перекурим? — предложил Валентин, проведя ладонью по гладкому, будто лаковому срезу пенька.

Неподалеку взялая Шарик, суматошно захлопали крылья — целый выводок рябчиков сорвался с ягодника, перелетел в лес.

— Не охотишься? — поинтересовался я.

— Нет, какое! У меня и ружья сроду не водилось.

— Из-за руки?

— Рука — что! Было бы желаньишко, и с моей рукой палить можно. Не любитель.

— Понятно...

— С войны еще отбило желанье-то. На войне я ведь снайпером был.

— А вроде рассказывал, в пехоте служил.

— Так и снайпер, считай, та же пехота. Когда еще обучались на стрельбище, капитан меня приметил и в снайперы определил. Самая беспокойная на войне работа. Пошлют тебя на нейтральную полосу с заданьем, только стрельнешь, а немец-то и давай чесать из чего ни попадя: из пулеметов, минометов — белый свет не мил сделается.

— У снайперов, кажется, личный счет был?

— И у меня был. Восемнадцать человек положил. Сперва-то все вроде не взаправду: поймаешь в прицел, нажмешь на спуск — был да нет. «Не по кой леший тебя к нам и принесло», — думаешь. Только одного и запомнил.

— Как так?

— Дело под Котельниковым вышло. Посылают меня опять на нейтральную полосу, на сей раз как бы в разведку. Степь, кустика не видать. В землю зарываться — одно спасенье. На рубеж ночью выполз недалеко от перекрестка дорог, окопчик вырыл, замаскировался, лежу. Заданье простое: засекать огневые точки. Лежу, значит, наблюдаю. Ближе к утру немец-то и зачал палить из всех калибров. Потом танки с пехотой поперли. Наши побежали, а я в безвыходном положении, раз на нейтралке. Только нос высунь, кряду пулю и схлопочешь. Делать нечего, притаился. Живым, думаю, не дамся, а до ночи, авось, пересижу, ежели не набредут на меня. Сквозь траву вижу: замаячил на перекресте дорог часовой. Ходит козырем, рукава закатаны, автоматиком поигрывает. Кругом — шаром покати: атакующие вперед ушли, а тылы не подтянули пока. Немец на воле-то, без начальства, и раздухарился. Топчется, срамник, по перекрестку, то песню запоет, то на губной гармошке заиграет...

Надоел мне этот часовой хуже горькой редьки. Главное, пошевелиться нельзя — заметит, а затекло все тело, мочи нет. Полежу да погляжу, а он все на дороге выплясывает, песни поет. Тут справа слышу: «Ура!» и стрельба несусветная: наши в контратаку идут. Немец-

то забегал: туды-сюды, туды-сюды, потом как драпанет со своего поста, только каблуки засверкали. Ну, думаю, гад, не уйдешь! На мушку его взял — он носом и ткнулся. И скажи: всю ночь не по себе было, противно и жрать не могу. А ведь не первый он у меня. Может, оттого, что песни передо мной пел?

Вскорости после того я и сам нарвался. Мина сданула недалеко, весь бок рассадило, да и руку в трех местах перебило, еле сшили. Так и отвоевался.

— Значит, восемнадцать человек?

— Восемнадцать. Чего сделаешь, надо. Не мы их, так они нас, тут дело такое. А с войны пришел, чисто отшибло меня от оружия. Зарок дал: больше капли крови не пролью. С того время живой души не порешил. Курице голову и то не рубливал, соседа зову.

— А рыба? — пошутил я. — Тоже живая!

— Да это, вишь, другое дело, — серьезно ответил Валентин. — Я, к примеру, язенка не убиваю. Дело его: хошь бери наживку, хошь не бери. Его воля. А будь я теперь с ружьем да пальни в рябка — прямое убийство выйдет, потому как не рябок выбирает, а я. Не по своей воле он умрет, а по моей, вот в чем закавыка.

— Другие стреляют, не задумываются.

— То другие. Другие мне не указ, и я им не указ. Ежели душа этого не принимает, так ничего не поделаешь. Ты вот не ешь чего-нибудь?

— Чего? — не понял я.

— Ну, люди, бывает, не едят: кто рыбу, кто грибы, кто там помидоры...

— А... Свеклу не ем.

— Вот и мне охота — что тебе свекла, — засмеялся Валентин. — Хоть заугощайся — не хочу. Давай-ка еще одно место проведем да и домой.

Хозяйка моя несказанно обрадовалась как с неба свалившейся корзине рыжиков. Узнав, что я был в лесу с Золиным, похвалила его:

— Валентин места знает! За клюквой ли, за морошкой — бабы все его просят: своди да своди, — она вдруг засмеялась. — По год рыжики не росли, а мы глядим — Валентин прет короб располнехонький. Приступились: скажи да скажи, откуда принес. «А от Ванского болота, бабы!» Мы, дуры, и побежали за три-то километра, да все попусту. Он, мазурик, в короб моху наклал, а сверху рыжиками закрыл. Долго хохотали потом.

Несколько дней я не видел Золина: установилась погода, он дневал и ночевал на сенокосе. Накануне отъезда потянуло пройти с удочкой до золинского сеновала, порыбачить, а заодно и попрощаться с Валентином. Встал я до света и часам к семи добрался до знакомого омута. Закинув удочку и воткнув конец удилища в глинистый берег, неторопливо стал пробираться к луговине, обходя залитый росой ивняк. Сквозь кусты уже чернел знакомый приземистый сеновал, когда меня остановил голос Золина.

— Чего глаза-то растопырил, не стыдно? — неслось с луговины. — Срамник! Я тут с одной рукой маюсь, а вам лишь бы затоптать, лишь бы запакостить! Гли, сколь сена-то набил под палатку! Куда мне оно теперь? Взять бы тебя, срамника, за шкирку, да в воду!

Я осторожно выглянул из-за кустов. Маленький Валентин, как петух, насакивал на дебелого детину в очках, который стоял возле современной польской палатки. И под палаткой, и вокруг старого кострища лежали охапки отсыревшего, мятого, подпаленного сена, притащенного сюда, видимо, с сеновала.

— Ты не шуми! — осторожно увещевал Золина детина. — Не шуми. Чего твоему сему сделалось, ну чего?

— Того! Оно теперича скотине и на дух не надо! Да кабы один был, так ладно. А то ведь каждый день, паразиты, у сенника устраиваются, места им, срамникам, в лесу мало!

Я повернулся и тихо спустился обратно к реке...

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ

Михаил Павлович не стал больше перемогаться, лег на кровать. Знобило. Волнами от плеча к ноге прокатывалась боль по всем большим и маленьким старым ранам. Больше всего донимало плечо, пробитое под Ленинградом. Будь ты проклята та ложбинка. Ложбинка ли, болото ли... Снег густо лежал, а из-под снега танки выворачивали торфяные комья. И ползли по этим комьям солдаты, грудь до синяков натирая. Недалеко уж была и высотка, когда его будто на воздух приподняло. Только и успело мелькнуть в голове: «Убили...» А потом — искры перед глазами, круги какие-то разноцветные, смертные...

— Чего стонешь-то? — Люба, тяжело ступая, вошла в комнату. — Говорено тебе, ложись, отдохни! Нет, бродит и бродит. Ну-ко, ворота надумал перевешивать! Прожили бы и так!

— К погоде, видно, матка, — виновато уронил Михаил Павлович.

— Давай к фельдшерице схожу, укол прибежит сделает.

— Да ну ее! Отлежусь. Принеси-ко попить.

Боль накатила снова, часто-часто задергало голень, которой давно уже не было. Все мясо из-под колена вырывало осколком в конце войны. Это ранение Михаил Павлович много лет считал легким, и только теперь, к старости, нога стала сдавать. Раньше, бывало, километров за двадцать на охоту ходил — ничего, а сейчас около дома потопчется — и готов. Рубцы под коленом пухнут, сочатся сукровицей. Давно висит на стене ружье с последним зарядом, вроде украшения.

— На вот — морсу сделала — попей.

Михаил Павлович тяжело приподнялся, помогая себе здоровой рукой, жадно выпил холодный, с кислинкой

напиток. Опустился на подушку, вытер рукавом пот со лба.

— Не бережешься нисколько, — выговаривала Люба. — Не молоденькой с топором-то цельный день хрястаться. Почто бы к Надьке ходить крыльцо ладить? Поворочал плахи-то, вот и прижало.

— Баба одна с ребятишками мается. Как не поможешь?

— Нашлись бы помощники и без тебя. А утресь? Самого ломает, нет — давай ворота перевешивать! Да унеси леший и ворота, раз не можешь!

— Ну будет! Развоевалась. Вот посплю, все и пройдет.

— Горе ты мое, горе раненое...

Люба подоткнула одеяло и, стараясь ступать тише, вышла.

После питья боль отпустила. Михаил Павлович подумал, что и впрямь виноваты, пожалуй, тяжелые сосновые плахи, из которых рубил вчера новое крыльцо соседке Надежде Стоговой. Наворочался до того, что еле осилил «маленькую», которую Надюшка купила ему за работу. Потом вроде все прошло, с утра только голова побаливала, думал — с похмелья. Встал рано, принялся ворота перевешивать. Осели ворота от долгой службы, худо закрываться стали. Перевесить — перевесил, запор приладил, а после и пошло катать.

Эх, раны, раны! А вот интересно, что же с немцами-то стало, которые стреляли в него? Ну того, под Ленинградом, обязательно шлепнули, ребята сказывали, что после боя мало кто из немцев в живых остался. А другие-то? Может, живут в своей Федеративной живые-здоровые. Внукам рассказывают, как в России деревни жгли да людей вешали. Как же вот тех-то раскусить? Это-то что за люди? У нас, поди, таких нет. Ой, нет ли? Поискать ежели... Вон хоть мужик-то у Надехи Стоговой — Венька-то... С детства пакостный парень. Маленький был, все над кошками да над собаками изгилялся, а подрос — ни одной драки в деревне без него не обошлось. И в драке — зверь. Одинова Петьку Силина чуть не зарезал, насилиу отводились. Парень потом больше месяца в больнице валялся, да и по сию пору как тень...

За драку и посадили. А чего вроде бы человеку надо? Женился, деток завел, специальность хорошая — трак-

торист. Обуться-одеться деньжонок хватит, кабы не зашибал. Да поди ты: где дерутся, там и Венька.

Сон сморил Михаила Павловича. И опять снилась ему война. Грохотали рвущиеся снаряды. Бегущие навстречу враги почему-то во всю глотку матерились по-русски.

* *
*

По пути от свинарника к дому Надежда Стогова зашла в магазин. Продавщица, степенная Нина Кузнецова, склонившись на прилавок, писала счет на тетрадном листке. Подняла глаза на свинарку, улыбнулась:

— За бутылкой, поди, Надежда?

— Выдумашь! До бутылок мне и есть!

— Неужто не купишь ради встречи?

— Какой такой встречи? — быстро спросила Надежда, чувствуя, как замирает сердце.

— Гляди-ко, так ты и не знаешь ничего? Венька ведь у тебя приехал! Только что бабы сказывали. Домой, говорят, пошел, да веселый такой. Рад, видно.

— Батюшки! — Надежда прикрыла ладонями вспыхнувшие щеки. — Я давно жду, сулился, а все нет и нет... Ладно, Нина, давай и бутылку. Да и рыбки нет ли какой на закуску?

С полной сумкой, не чуя под собой ног, бежала Надежда к дому. Рывком распахнула дверь в избу. Венька, постаревший, черный, сидел за столом, держа на коленях пятилетнего Колюшку. На столе стояла початая бутылка водки.

— Во, Колюха, явление матки народу!

Венька неторопливо встал.

— Когда приехал-то? — спросила Надежда, целуя мужа.

— Только что. Не ждала?

— Ой, как не ждала, все глаза мы проглядели! Танька-то, Танька-то ничего не знает, в школе она. Дак чего стоим-то, садись, я сейчас. Сварю чего-нибудь, рыбки поджарю. Баню-то сегодня станем топить али завтра?

— Все равно...

К вечеру в доме Стоговых стало шумно. Явились старые Венькины дружки, как тут и были. Надежда

безотступно вертелась у плиты: варила, жарила. Взглядывая порой на мужа, вздыхала: черный, худой, материться стал пуще прежнего, глаза бешеные. Детки, сидевшие сперва за столом, забрались в спальню, притихли.

— Мне теперь любой фраер не страшен, понял? — пьяно втолковывал Венька. — У меня дружки — во! Сила! Извини меня, ты Ваську Смыка знаешь? Ни хрена ты не знаешь! Мы с Васькой десятерых таких, как ты, курва, ломали! Хоть бы хны! Мы и «вышки» не побоймся, понял?

— Господи, — шепнула Надежда. — Опять за старое. Мир-то их не берет!

Она быстро оделась, подошла к столу.

— Вы тут сидите, мужики. Мне поросят надо покормить.

— Надька! Во баба, класс! — крикнул Венька. — Выпьем, Надежда!

— Да я уж пила.

— Со мной! Я тебе — кто?

— Муж, муж. Ну, давай!

— Муж-то муж, а и заместители бывали, — ухмыляясь, вмешался Пашка Курицын.

— Ты чего врешь-то, бесстыжая твоя рожа! Опомнись!

— Говори, падла! — Венька пятерней сгреб ворот Пашкиной рубахи.

— А чего мне врать? Сам видел, вчера Мишка Пудов из вашего дому выходил. Веселый такой.

— Дурак ты, дурак! Мужик крыльцо согласился изладить, вот и угостила. На кого подумал-то: на старика, инвалида!

— Вчера? Та-ак! — Венька медленно поднимался со стула и так же медленно глаза его наливались пьяной злобой.

Не в силах сдержать слез, Надежда выбежала во двор и, всхлипывая, пошла к свинарнику. Сквозь влагу, застилавшую глаза, плохо различала дорогу, спотыкалась. Нет, не исправили Веньку три года. А как надеялась, дура, ждала: придет, все по-новому будет, заживут как люди. Сколько перетерпела от него за девять-то лет! В первый же месяц после свадьбы из дому выгнал. Уйти бы тогда совсем! Не носила бы после синяки, не полива-

ла бы по ночам подушку слезами. Платья хорошего при нем не нашивала, все деньги на водку вылетали. Только три года и пожила спокойно, пока сидел. Лучше бы так и не возвращался. Эх, Венька, Венька!

* *
*

Михаил Павлович долго не мог подняться с постели. Резкие, колющие удары в ворота учащались, на крыльце кто-то пьяно матерился. «Ворота рубят!» — мелькнуло в голове. Одевшись на скорую руку и схватив лежавший у порога топор, шагнул в сени.

— Ты чего, подлец, ломишься? Спятил, что ли, с топором-то прибежал?! Кто это?

— Открывай, фраер, мать... Голову отрублю суке!

Михаил Павлович наконец-то узнал голос Веньки.

— Венька?! Уходи добром, не ломай ворота! Себе хуже сделаешь!

— Зарублю-у-у! — неслось с крыльца.

Удары в ворота стали яростнее. Трещало дерево. Дрожала избенка. Через минуту доска, перерубленная пополам, свалилась в сени. В дыру стало видно, как мечется по крыльцу взлохмаченная фигура. Ворота держались еще, но вздрагивали от каждого удара все обреченнее. «Вот и смерть!» — быстро мелькнуло в голове Михаила Павловича. Дрожащими руками он поднял топор.

Во дворе вдруг раздались крики людей, их перекрывали причитания прибежавшей от соседки Любы. Кто-то бросился на крыльцо. Удары топора смолкли, теперь Михаил Павлович слышал только возню, сопение, ругань. Он распахнул искалеченные ворота и увидел, как мужики заламывают Веньке руки, стягивают их веревкой. Неуверенно ступая, Михаил Павлович подошел ближе.

— К Надехе ходишь, морда! Я тебе сделаю! Я т-тебе!! — хрипел Венька.

Его подняли, повели.

Люба подбежала к Михаилу Павловичу, схватила за руки, пытаясь отобрать топор. Он только теперь вспомнил, что все еще держит его в руке и без сопротивления выпустил топориче. Так они и вошли в дом: он, шатаясь от слабости, она — с топором в руке.

Посудачив, поохав, разошлись бабы, и в деревне снова угнездилась тишина.

Михаил Павлович присел на лавку к окну, дрожащими пальцами взял папиросу, долго не мог прикурить. Жена плакала.

— Принес черт соседушку! Да с чего он на нас-то кинулся? Чем ему старики-то помешали? Ой, паразит пьяной! Как хошь, Миша, а подавай в суд. Видано ли дело: по ночам ворота рубить? А не заперто было бы, так и все. Убил бы, шпана, убил бы!

— Ладно, уймись.

— Да как уймись, как уймись?! А в завтре прибежит? Я вот пойду в милицию, как хошь!

Люба обиженно хлопнула дверью спальни.

Михаил Павлович молча, хмуро курил. И опять почему-то вспомнилась война. Не вся война, а тот маленький кусочек войны, когда они выбивали немцев из окопов под Смоленском. Глина липла к сапогам, бежать было тяжело. То и дело падали товарищи: кто поскользнется, а кого и пуля положит. И у него дыхание запалилось. Когда добежали до немецких окопов, он хватал ртом воздух, ноги подламывались, а надо было драться. Прыгнул, подмял под себя слабосильного немца, и будто глыба свалилась на голову. Михаил Павлович осторожно потрогал шрам на затылке. Может, по этому самому месту ударил бы Стогов топором. Обухом бы ударил или острием? Острием, наверно.

С чего он? Чушь какую наплели пьяному? А хоть бы и наплели! Значит — убить? Вишь ведь все как просто. Хочу убить — убью. Хочу украсть — украду. Хочу ограбить — ограблю! Все можно. А можно ли, Венька? А ежели все так?

Ах, подлец, подлец! Не покажешь ему того, что сам на войне видел, жаль, не покажешь!

Холодная ярость охватила Михаила Павловича. Забыв о боли он резко встал, прошелся по избе, чуть припадая на раненую ногу.

Грохотнуло по окну, у которого только что сидел, зазвенели, запрыгали по полу вдребезги разбитые стекла.

— Выходи, Мишка! Смерть идет!

За окном, в сумерках теплой летней ночи угадывалась Венькина фигура. Михаилу Павловичу показалось,

что сосед вновь размахивает топором. Кровь бросилась в голову, и такая всеильная, знакомая еще по фронту злоба напрягла все мускулы, что он одним махом сорвал со стены ружье и, почти не целясь, спустил курок. Выстрел слился с истошным криком Любы.

Картечь срезала Веньку наповал. Долго шло следствие. Возле трупа не обнаружили топора, о котором упорно твердил обвиняемый, и выходило, что убил он безоружного человека. Михаила Павловича судили за «превышение пределов необходимой обороны». Люба, прощаясь с ним, враз сомлела, переживая всю будущую стылую старость. А он, глядя куда-то вдаль, то и дело потирал огрубевшей большой ладонью раненное под Ленинградом плечо...

ТРИ РУБЛЯ СДАЧИ

1

Мороз, конечно, прижимал, но и пиво в Мытниках выкидывали не часто. Иван приткнул трактор в проулке, спихнул шапку на затылок, провел правой по груди, где под ватником похрустывала новенькая десятка. Пока он раздумывал, к очереди у пивного ларька подскочил плюгавенький мужичок с бидоном, и Козырева будто кто толкнул: торопясь, вымахнул он из-под сиденья пластмассовую канистру, в которую набирал ключевую воду, кубарем вывалился на землю.

— Кто последний?

— Ты, братец! — ответил плюгавенький. — С эдакой посудиной прибежал, так после тебя у бабки Симы делать нечего!

— Язык не отоморозь.

— Как это? — удивился мужичок.

— А так. Болтаешь много.

Потирая носы и уши, притопывая зимними ботинками, стали оглядываться передние. Мужичок стушевался, замолк, тоже стал тереть ухо рваной перчаткой. Так и достоялся Иван Козырев, сунул канистру в маленькое окошечко.

— Не стану наливать! — отрезала Сима. — Не стандартная посуда!

— Да ты что, мать, — нежно сказал Иван. — Цеди прямо, не бойся. Двадцать кружек, больше не войдет. Ну хошь, для верности, за двадцать три заплачу?

Бабка Сима кивнула, поставила канистру под желтую струю. За полупрозрачной пластмассой всплыло

над темным белое облачко. «Больше пятнадцати не нальется», — смекнул Иван, попросил:

— Плесни пару кружек отдельно. Пока пью, глядишь, и отстоится.

Бабка безропотно нацедила две кружки, брякнула счетами.

— Шесть пятьдесят с тебя.

Озябшими пальцами протянул Козырев заветный червонец и, ежась от мороза, стал тянуть мелкими глотками ледяное пиво. Одолевал полторы кружки, потом все застыло внутри, так же, как и снаружи.

— Давай что ли, канистру-то! — грубовато кинул бабке.

Та для приличия открыла краник на стояке, плеснула в канистру жиденькую струйку, выдвинула через окошечко посудину. Иван побежал к урчавшему в проулке трактору, забрался в кабину, пристроил канистру у сиденья и тронул рычаг, все еще дрожа от нутряного холода. Потом, он и не заметил когда, холод исчез. Осталась в груди только радость от мысли, что вот приедет он сейчас домой, кликнет соседа Степана и засядут они за пиво у теплой печки...

«Заводной Степка-то! Пиво осилим, так всю деревню перевернет, а продолженье найдет. Ништо, завтра отосплюсь. Только денег-то у него, поди, ни гроша. Ну на бутылку наскребем, ежели что...»

Иван провел рукой по груди и вдруг вспомнил, что не взял у Симы сдачу с десятки.

«Цельный трешник зажилила, елки-моталки! Чтоб ты лопнула, старая луковица!»

Сгоряча он чуть не повернул «Беларусь» обратно, да спохватился. Стемнело уже и отъехал далековато, давно, чай, прикрыла бабка Сима лавочку, ищи-свищи ее.

«Ништо! Бывать в Мытниках-то! Перебьемся. Не от трех рублей наши домики покосились».

А все-таки на душе было худо.

Дорога, расчищенная бульдозером, бойко бежала под колеса трактора. В лучах фар прыгали ближние и дальние сосны, сплошь обсыпанные куржаком.

Ну, бабка, елки-моталки! — в сердцах ругнулся Иван и, придерживая штурвал одной рукой, другой потянулся за канистрой. Она, как на грех, застряла: пришлось нагнуться, пошатать, вытаскивая.

Не раньше, не позже, а прямо в тот миг выскочила из-за поворота машина на скорости. Шофер, новичок видно, что есть мочи даванул на тормоз. Газик понесло. Козырев резко бросил передок трактора к обочине. Пропоров наваленный бульдозером бруствер, трактор сунулся радиатором в неглубокий кювет, жалобно взревел и смолк. Очухавшись, Иван кое-как выбрался на скрипучую колею, будто пивом, облитую лунным светом. Водитель газика, рослый, в новой дубленке, коршуном налетел на него:

— Офонарел, малый! Весь задник мне разворотил, мазила! Куда едешь? Из какого колхоза?

— Из «Правды»... — оробело ответил Иван. — Я тут не при чем. Вишь, вашу машину занесло.

— Где занесло? Где занесло, я тебя спрашиваю?! Глаза у тебя занесло! Пьяный? Точно, пьяный! — словно удивляясь, но с явным облегчением молвил мужчина в дубленке и сел в машину. — Погоди, попляшешь ты у меня! Стой тут и ни с места! Сейчас из Мытников ГАИ подошлю.

Только собрался Иван возразить, что вовсе он не виноват, что водитель газика сам не справился с управлением, а доказывать уж и некому: легковушка, сердито фыркнув, сверкнула красными задними огнями и рванула в ту сторону, откуда приехал Козырев. Тут Иван удивленно протер глаза: номер на газике — 21-45 — показался знакомым. «Да ведь машина-то наша, предводительская! Как этот хмырь в ней оказался, елки-моталки? Угнал, может? Во, дает! ГАИ, говорит, пошлю. Да ты ГАИ сам за пять верст объедешь! Надо к Семке бежать, проспал, елки-моталки, свою коробочку!»

До Кузнечихи, Ивановой деревни, оставалось километра четыре. Козырев, проваливаясь по брюхо, пробрался к передку трактора, обтоптал снег и в неверном желтом свете луны чуть не ощупью обследовал поломку. Выпрямившись, сплюнул и стал сливать воду из радиатора. Потом забрался в кабину, еще пахнувшую недавним теплом, поочередно снял валенки, выколотил набившийся в них снег, обулся, подул на онемевшие от холода руки.

Хлопнула дверка, и с настывшей колесной дорожки понесся в ночи скрип шагов споро и по делу идущего человека.

— Семен, открой!

— Кто там? Ты что ли, Иван? Мы уж спать укладываемся. Заходи давай. Эх обиндевел!.. Что стряслось-то?

— погоди, отдышусь, — хрипло сказал Козырев. Он поставил канистру к голбцу печи, присел на лавку, неловко стянул шапку и ударил по колену, сбивая иней. Лицо с мороза — что надраенный медный самовар. — Ну и жмет, елки-моталки! Под сорок, не иначе. Я чего забежал-то? Машина у тебя где?

— Тю-тю моя машина! — засмеялся Семен. — Продали. Скоро новую получать поеду.

— Как так продали? — изумился Козырев. — Кому?

— Замначальника управления какого-то из области, Грунько. Ее бы, знамо дело, подлатать, побегала бы еще. Да этот Грунько председателя уломал: продай, говорит, как списанную, мы тебе новую дадим. А председателю что? Новая не хуже. Встретил его, что ли?

— Трактор из-за него угробил, елки-моталки! Да... Зря, выходит, и бежал, торопился: угнали, думаю, у Семена машину. А оно вон как обернулось. Пива в Мытниках взял, да замерзло все. Не будешь?

— Неохота на ночь глядя. Ты, может, чаю горячего выпьешь?

— Не стоит канителиться. Дом рядом, заодно уж.

— Чего заодно, вишь, залубенел весь. Скидывай ватник да подвигайся к столу. Дуся, налей щей горячих Ивану.

За чаем Иван рассказал о своей беде подробно. Пожаловался — неделю на ремонте простоит, а заработков и так кот наплакал... Слово за слово, дошла очередь и до пива. Домой Иван принес пустую канистру.

Утром Козырев первым делом побегал в контору.

— Знаю! — жестко остановил его председатель. — Вчера из ГАИ о твоих художествах звонили. Пьяный был?

— Да какой я пьяный? — возразил Иван. — Кружку пива в Мытниках выпил, какой я пьяный? Елки-моталки!

— Хороша кружка! По сию пору перегаром разит. Да и свидетель есть: сам Грунько засек тебя на дороге. Было дело?

— Ну было, — сник Иван. — Из-за него я и трактор нарушил. А только, ей богу, одну кружку...

— Все! Трактор сегодня Столбиков в мастерскую доставит, а ремонтировать станешь за свой счет. Ну и о дополнительной оплате не заикайся. Порядок знаешь: налетел — отвечай.

— Виктор Петрович! — чуть не взмолился Козырев. — Ведь и так без денег сижу! Новый год на носу!

— Пить надо меньше. Все. Разговор окончен. Ступай в мастерскую.

— Ну, елки-моталки... — опустил голову Иван, бредя к выходу.

В длинном коридоре конторы, где обычно толпился народ, сегодня пустынно, лишь у кабинета главного зоотехника заведующий фермой Степаков разговаривал с электриком Вавиловым. Они приветливо поздоровались с Иваном, и тот снова рассказал о своей беде.

— Чего сам-то говорит?

Иван вяло махнул рукой:

— Ремонт за свой счет и дополнительную зарезал.

— Во как, видал? — с каким-то торжеством даже сказал Степаков. — Я всегда говорю: кто смел, тот и съел! Этот Грунько восемь сот за машину отдал, запчасти по блату достанет, ремонт, туда-сюда, считай — тысяча. Думаешь, ездить на ней станет? Держи карман! Отремонтирует, загонит за десять, а то и за тринадцать тысяч, как пить дать. А ты из-за него в аварию попал, да и без гроша останешься. Где правда?

— Вот невезуха, елки-моталки! — растерянно пробормотал Иван, уходя.

— Прижало мужика! — посочувствовал Вавилов.

— А не зевай! — отрезал Степаков. — Чего испугался, в кювет полез? Ну, ухайдакал бы Грунько машину, туда и дорога. Экспертизу бы провели: правил не нарушил — никто бы и не придрался. Зевнул, вот и расхлебывается. Теперь, паря, зевать нельзя. Тот же Грунько... изловил шанс да и хапнул. Я считаю: есть возможность — бери, взял — не попадайся. Слушай, — по-

низил он голос. — Слово-то в аккурат к делу. Вчера ко мне на ферму Козырев сорок мешков комбикормов привез. Пораскинул я, помозговал: все равно ведь половину рассыпят да затопчут. Кто учтет, сорок мешков скормили али двадцать? Прямой шанс загнать половину. У тебя брательник-то как?

— Кто знает... — поежился электрик. — Ему, знамо дело, не впервой, да ведь воровство как-никак.

— Воровство! Тысячами хапать, так не воровство? Вон Грунько-то! Да мои двадцать мешков супротив его доходов — тыфу! Верно?

— А, была-не была! Потолкую с Гришкой, — виновато улыбнулся Вавилов. — Телега найдется у тебя?

— Есть тракторная. Силос на двор возим. Да брать-то опасно, заметят.

— Гришка ее затемно обратно поставит. Только ведь сторож там...

— Моя забота. В усмерть напою, хоть самого пове-зи. А и верно, на нашей-то телеге способнее. В случае чего — за сеном поехали, и весь сказ. Гришке скажи, пусть не бахвалит, по-тихому сплавит надежным людям.

— Не младенец.

Сбыть двадцать мешков комбикормов порешили в лесопункте, где работал двоюродный брат Вавилова Гришка: у него трактор и родни в поселке много, у каждого поросенок или корова.

3

Мороз отпустил, задул несильный западный ветер, который постепенно разгуливался и уже закручивал на гребнях сугробов летучие белые дымки. Иван не замечал ни ветра, ни этих дымков, ни самой улицы. Прикрывая лицо рукавицей, он бежал к мастерской, все еще не веря в неожиданно грянувшую беду.

«Зря ушел-то, дурак, надо было по-хорошему попросить. Шутка ли — год вкалывал, без денег остался. Под Новый-то год! И занять — у кого займешь? Непьющий не даст, а пьющий и сам гол как сокол. Елки-моталки! Хоть воровать иди, право слово!»

Всю жизнь Козырев особо ни над чем не задумывался. Детство его пришлось на послевоенные годы, да на младенческую голодуху век оглядываться не станешь.

А в возраст вошел — в колхозе полегчало, вместо трудодней денежную оплату ввели, и хлеб стали возить в магазин. Однако знал: были бы руки да сноровка — не пропадешь. И выходит, что лишка горя Иван не хлебнул. Хоть и нынешняя беда — такое ли горе? Перебьется. Жена, Шурка, зарабатывает не хуже Ивана. Только ему-то, мужику, каково на бабью зарплату жить? А главное обидно: ни за что пострадал, из-за глупости. Кабы кружку-то пива у ларька не выпил, все бы и обошлось. Не побоялся бы и в ГАИ податься. А раз пахнет — куда денешься? Ох и собака этот Грунько, подвернула его нечистая сила!

В просторной колхозной мастерской пахло теплом, но тишина стояла, как на кладбище. Угрюмо торчали полуразобранные тракторы, отсвечивая масляными внутренностями. Ремонтники не торопились: подались, видно, по своим новогодним делам. Время терпит, до весны далеко.

Трактора Ивана в мастерской не было: не управился, стало быть, Столбиков.

«Тоже — гусь! — обиделся Иван, садясь на глянцевую от масла табуретку у верстака. — Уехал и не сказался, будто я уж навовсе с трактора списан. Жизнь, елки-моталки! Нигде-то правды нет, нигде!»

Козырев вспомнил, как надула его вчера бабка в пивном ларьке, заживив трешник сдачи с десятки, как с этого трешника все и поехало, покатилося: расстроился, полез за канистрой, прозевал встречную машину... Кабы не прозевал-то, так мог бы и не сворачивать: остановился бы да и все. А этот толстомордый в дубленке? Машину за гроши увел — ему ничего! Премии не лишат!

«Неужто и верно, всяк для себя живет? Как Степак-то сказал: кто смел, тот и съел! Да, видно, так оно и ведется: век свой на дураках выезжают! — невесело размышлял Иван. — Ну раз так, я вам не Иванушка-дурачок! Возьму свое!»

Но сколько он ни прикидывал, где «взять свое», в голову ничего не приходило. А когда Столбиков приволок на буксире «Беларусь», стало и вовсе не до того: пришлось соображать, с какого боку приступаться к ремонту.

Обидные раздумья вернулись вечером, когда Шур-

ка, узнав о беде от баб на телятнике, нещадно выругала Ивана:

— Ой ты, чучело! Кто-то деньги наживает, а тебе лишь бы нажраться! Пьяный ведь был? Да как не пьяный, чего и спрашивать: приплелся о полночь, зюзя-зюзей. Залил глаза-то — на-ко, в канаву полез. А кабы сам ухайдакался заодно с трактором? Я-то тоже дура! Выскочила за тюху, за невареного! Польстилась! Голова скоро посинеет, а ума ни на грош!

Пошумела и дверью хлопнула: подалась спать в другую половину. Слушал Иван покорно: чего скажешь, коли сам кругом виноват. Знал, что к утру оттаает Шурка: подолгу сердиться она не умела. Проводив жену взглядом, долго горбатился над столом, смолил «Приму». Снова и снова перебирал в памяти вчерашний день... Утром со склада он привез на ферму комбикорма; мешков сорок, не меньше, на плечах перетаскал. Вдруг Козырева будто озарило: вот оно! Прихватить пару мешков — никто и не заметит. А и хватятся — ищи ветра в поле! «Раз все воруют, так я чем хуже? Под крыльцо суну, потом в Мытниках за червонец загоню. Кто смел, тот и съел, елки-моталки!»

Иван проворно встал, обул валенки, сунул руки в рукава ватника, сгреб ушанку.

К ночи разгулялась метель. Временами пелена взвихренного снега закрывала мутной завесой редкие огоньки в домах, где любители хоккея маялись перед телевизорами.

«Вот и ладно! — успокоил себя Иван, отворачивая лицо от ветра. — Все следы занесет».

На ферму, понимал он, незаметно пробраться не просто: сон у деда Игната чуткий, но Козырев до поры отгонял все опасения.

В метели он чуть не напоролся на тракторную тележку, которая черным коробом вынырнула перед самими воротами скотного двора.

«Ишь, черти, кинули не на месте! — мысленно ругнулся Иван, ощупью обходя преграду, и вдруг заметил, что задний борт тележки не закрыт, а на ней под слоем снега грудятся мешки. — Видно, на телятник везти собрались, да так и кинули, на ночь глядя, под снег. А мне не могли сказать? Сразу бы и увез половину туда, без всякой перевалки. Ну хозяева, елки-моталки!»

Он досадливо покачал головой, но тут же сообразил, что удача сама прет в руки: бери да тащи — никто не увидит. Иван подволок к краю тележки два мешка, приладился и взвалив их на плечи, побрел назад, к деревне.

Хотя метельный ветер пронизывал насквозь, Козырев заливался потом, но не от тяжести мешков... Казалось, отовсюду — и справа, и слева, и спереди, и сзади, и даже сверху — смотрят на него десятки осуждающих глаз.

«Вот оно, каково воровать-то! — мелькнуло в мозгу. — Неужто привыкают? Не-ет, будет с меня и одного разу!»

Было уже за полночь, когда Иван добрел до своего крыльца и бросил мешки на снег. Под крыльцом была маленькая кладовка, где хранились лопаты, косы, грабли и прочий крестьянский инструмент. Торопливо отвернув завертышек дверцы, Иван сунул в кладовку мешки и, прикрыв дверцу, снова завернул завертышек. На миг почудилось отдаленное рокотание трактора, но Иван не обратил на него внимания.

В избе стояла давящая тишина, пахло табачным дымом, кровать была не разобрана. Видно, Шурка рассердилась не на шутку. Иван разделся и, сев к столу, нашарил в темноте мятую пачку «Примы».

Он вновь и вновь как бы со стороны приглядывался к себе: вот крадется к ферме, вот натывается на брошенную тележку, вот подтаскивает к краю запорошенные снегом мешки... Скрипнул стол под локтями. За этим вот самым столом отец огрел Ваньку ложкой по лбу за то, что он потянул из блюда самый большой кусок мяса. «Не хватай больше других! — как бы въявь услышал Иван отцовский голос. — Куски хватать станешь — добра не жди!» Не понял он тогда отцовских слов, вот только сейчас дошло вроде.

Иван нервно приткнул окурок в консервную банку и тут же закурил новую сигарету. «Вор? Я — вор! — в который раз изумился он. — Да что за наваждение-то, елки-моталки! Ведь батя-то в гробу перевернулся нынешней ночью: дошел сын до ручки! Вишь, безвыходное у тебя положение, с голоду помираешь вместе с ребятами малыми! После войны-то, бывало, еле до зеленого луку дотерпим, натолчем блюдо целое, водой

зальем — только ложки брякают у всех шестерых! А и в те поры батя на чужое не зарился...»

Козырев рывком скинул покрывало с кровати и сунулся под одеяло. Но снова захотелось курить, и он поднялся. Не успел затянуться, новая мысль ужалила: «А Мишка, сын, ежели узнает? И глаз не подымешь! Дожил, скажет, отец, ворюгой стал!» Простягой растет Мишка-то. Прошлым летом привез Иван ему велосипед детский из Мытников, так парнишка надышаться на покупку не мог. А жадности и тогда не было: в два дня всех дружков кататься научил. Те наявиваются по деревне взад-вперед — пыль столбом, а Мишка следом бегаёт, радуется — рот до ушей. Этот на чужое не позарится, сам последнюю рубашонку сымет да отдаст. Ну как дойдет до него слушок-то? А как не дойти, ясное дело, дойдет, те же дружки, небось, укажут: «У тебя, Мишка, папка — ворюга!»

Иван сжал голову руками так, что заломило в висках. И тут его будто ветром подхватило: в минуту оделся, в другую — у крыльца. Поднапружился, взвалил мешки на плечи — и туда, в темь, в ночь метельную, по знакомой стежке. Упрел, пока до фермы бежал, запалился. Валенки снегу полны, ноги от подошв до колен сырые. Вот и ворота фермы, а телеги тракторной нет...

«Что за притча? — опешил Иван. — Куда ее ночью-то? Не иначе, запил Столбиков, коли за работу об эту пору принялся. С него, баламута, станется. Так мешки-то куда девать? Тут кинуть? Промокнет все, елки-молотки, изопреет, вишь снег-то сырой повалил. Суну под крышу, была не была!»

Со ржавым скрипом отворилась тяжелая дверь коровника. Тусклая лампочка в подсобке, а и она после темени по глазам стеганула. Прислушался Иван: все вроде тихо. Подтащил мешки к куче и застыл, не оборачиваясь: идут!

— Кто здесь? — хриплым голосом окликнул дед Игнат. — Гли-ко, вроде Иван... Ты, парень, в уме ли? Куда отруби-то среди ночи волочишь?

— Да вот, — проямлил Иван, холодея от стыда. — Принес...

— Принес! — осмелев, дед сорвался на крик. — Упер, шаромыжник, а не принес! Куча-то наполовину меньше

стала... Ох я, старая лапотина! Это, стая быть, ты со Степаком удумал. Ловкачи-и!.. Игната, дескать, напоим, отруби свистнем — ищи ветра в поле! То-то Степак вечер сизарем вился, бутылки не пожалел. Не-ет, шалишь, парень! Дед Игнат сроду совести не продавал! Выведу на чисту воду! Бить станешь? На, бей, до смерти убей — не смолчу!

— Ох, дед! — Иван отрешенно махнул рукой, согнувшись так, что намокший ватник встопорщился горбом.

В раскрытую дверь было видно, как на дворе мельтешили белые снежинки.

ШУШЕРА

Пока суетились, укладывая чемоданы и кошельки под сиденья, Борис жался в проходе, удивляясь: неужели вся эта прорва народу поместится в купе?

Проплыла толстая проводница.

— Провожающих просим освободить вагон! Провожающие! Освободите вагон! Отправляемся!

— Ну, счастливо добраться! — дебелый мужчина неловко поцеловал старушку.

Жена его тоже ткнула старушку тонкими губами, будто ужалила. Поднялось еще несколько человек.

Поезд тронулся, пассажиры притихли, и оказалось их в сущности немного для общего вагона. В купе Бориса осталось семеро: двое напротив, трое, считая самого Бориса, на скамейке, где он сидел, да двое у столика за проходом. Те, за проходом — интеллигентный на вид худощавый мужчина и средних лет женщина с чистым, белым лицом, — сразу разложили снедь. Мужчина вытянул за горлышко бутылку из сумки и, пряча ее от посторонних глаз, налил полстакана.

— Митя... — укоризненно, но робко сказала женщина.

— Ничего! — пытаюсь улыбкой скрыть смущение, вполголоса ответил мужчина. — На дорожку! — Отвернувшись к темному окну, он выпил и снова принялся за еду.

От нечего делать Борис стал гадать, кто такие его попутчики. Напротив, положим, ясно — мать с сыном едут в Ленинград, в гости. Старушка определенно из деревни: в городе нынче такие платки не носят. А сын... Руки крупные, рабочие, одет в клетчатый пиджак — скорее всего шофер.

Интеллигентный Митя похож на конторского работника. А женщина, которая с ним, возможно, учительница или аптекарша. Выглядит она старше своего спутника, стало быть, не жена, хотя некоторые женщины рано старятся...

Рядом с Борисом сидела плотная краснощекая женщина. Несмотря на духоту в купе, она все еще не снимала пальто с лисьим воротником и настороженно озиралась по сторонам. За ней, у окна, устроился человек с густой, подернутой сединой шевелюрой и умным усталым лицом. «Учитель! — безоговорочно решил Борис. — А она? Наверно, доярка, первый раз в город едет, больно уж испугана. Очевидно, напросилась в попутчики к знакомому учителю, чтобы Ленинград показал».

Но, словно опровергая его домыслы, «учитель» просительно обратился к соседке:

— Может, и мы перекусим, Аня?

— Успеешь! — грубовато отрезала она. — Ночь долгая!

«Вот те на! — изумился Борис. — Муж с женой! Да он еще и под каблуком у нее!»

Наступило долгое затишье. Молчание семерых людей, сидящих в одном купе, становилось тягостным.

«Так и не узнают ничего друг о друге, молча улягутся на полки, уснут, а утром разойдутся не попрощавшись, будто и не спали рядом целую ночь, — огорченно подумал Борис. — Ненормально это. Русский человек всегда общительностью отличался, разговорчивостью. Эти едут... словно иностранцы. Прямо аномалия какая-то. Интересно, можно их расшевелить? Чем? Анекдот ни с того ни с сего рассказать? Еще хуже будет. Постой!.. Большинство пассажиров, как видно, из деревни. Ну-ка, ну-ка...»

Старушка, поклевав носом, теперь оглядывала всех удивленными глазами.

— Я, бабушка, давно спросить собираюсь у знакомого человека, — обратился к ней Борис. — Помните, у русской печки углубление есть, пещерка такая, там еще рукавицы сушат, — вот как она называется?

Старушка сдвинула на плечи старомодный платок.

— У меня, милоч, русской-то печи век не бывало! Перед войной в бараке жили, в войну железной «буржуйкой» обходились, а после казенную квартиру получили, с батареей. Не знаю, милоч...

— И никто не знает? — спросил Борис уже у всех.

— Печурка... — застенчиво сказала сидевшая рядом с ним женщина в пальто с лисьим воротником и покраснела еще больше.

От смущенной улыбки лицо ее преобразилось, похорошело, стало милым, приветливым.

Чтобы не дать угаснуть искорке завязавшегося разговора, Борис снова спросил соседку:

— Скажите — а приступок, по которому на лежанку забираются, это что?

— Голбец! — уже уверенно ответила она и, снова улыбнувшись, стала снимать пальто.

— Не привелось живать в деревне-то, не привелось, — покачала головой старушка. — А тоже много годов козу держала, да и куды без козы? Не выжить бы без нее в то время. Бывалоча привяжу ее за бараком на долгую веревку, да и на работу. Потом уж Любка подросла, пасти стала, — помнишь, Коля?

— Как не помнить! — сверкнул в улыбке белыми зубами ее спутник. — Как не помнить, ежели эта самая коза нас с Любкой и свела! Сколь раз бывало: оторвется да ходу, и все норовит к железнодорожному переезду. А мы с Любкой — искать. Маленьких коза сдружила, а подросли и — привет! — получай, бабка, зятя!

— Попережито! — вздохнула старушка. — Я-то уж сколько годов без мужика, всего хлебнула...

— Умер?

— Задавили мотоциклом. Искали потом, кто задавил, да не шибко, видно, искали. Следовательно прямо мне и сказал: «Твой старик сам виноват — был в состоянии сильного опьянения». Я сгоряча-то сама искать взялась, — она тихо усмехнулась: — Нашла! Оказался парнишечка шестнадцати годков. Родители уговаривают: «Твоего все равно не вернешь, а парня загубишь!» Плачут, слезами умываются. Поглядела я на этого парнишечку: перепуган до смерти. Поглядела, да и махнула рукой — простила.

— Это в крови у нас — прощать! — вмешался в разговор «интеллигент» Митя. Спутница попыталась остановить его, но он отмахнулся: — Погоди! В крови, говорю. Стукнут нас по щеке, а мы другую подставляем!

— Верно! — согласился мужчина с сединой в пышных волосах. — Я, к примеру, весной из кабины сутками не вылазил: на пахоте да на севе пластался. В уме-то

прикидываю: полтысчонки за посевную отхвачу. А пришел получать — за все про все три сотни. Туда, сюда, в бухгалтерию... «Все согласно нарядам, — толкуют. — Разбирайся с бригадиром». А у бригадира в нарядах сам черт ногу сломит. Ребята советуют: «Подавай в суд!» Подумал-подумал: с судом еще связываться, пропади они пропадом и деньги! Обложил Кешу-бригадира да и махнул рукой.

— Не-ет, у нас на заводе с этим строго! — заявил зять старушки. — Что заработал — отдай. А как же! Вкалываешь, можно сказать, себя не жалеешь — так будьте добры и ко мне по-человечески. А то — жульничать!

— Много ли таких-то, что себя не жалеют? — усомнился «интеллигент» Митя.

— А немало! — разгорячился старушкин зять. Он даже расстегнул свой клетчатый пиджак. Из нас в купе так и то трое наверняка, а может, и больше. Вас как звать-величать? — обратился он к мужчине с седоватой шевелюрой.

— Степаном кличут.

— А я — Николай. Вот у Степана тут провернулось: «Из кабины сутками не вылазил»! И про себя скажу: коли надо, — план там горит или авария какая, — две смены отстою без звука. В субботу, в воскресенье выйду на работу, ежели надо. А теща моя? Скажи-ка, мама, как ты себя на работе жалела?

— Да как жалела? В войну в цехе прямо у станков спали. А и после: то сверхурочные, то воскресники, домой-то, бывало, приползешь — и свету белого не видишь...

— У меня Анна, — показал Степан на жену, — на ферме на своей убиться готова. По сию пору, как отелы пойдут, там и ночует.

— Будет тебе! — толкнула его плечом Анна. — Нашел, чем хвастать!

— Ну вот, — подытожил зять старушки.

— Может, все и так, да это еще ничего не доказывает, — упорствовал слегка захмелевший «интеллигент» Митя. — Конечно, мне тоже за станком курить некогда, прямо скажем. Но все-таки думаю, мы тут случайно собрались такие. Сколько около любой работы лодырей вертится: где бы ни работать, лишь бы не работать!

— Это тоже не жизнь. Нет того хуже, чем когда ра-

бота не нравится, — возразил Николай. — Я, к примеру, электросварщик. Сваришь шов удачно да ровно — самому любо, душа поет!

— Говорят, сварщики часто глаза портят?

— Ежели по-дурному, испортить недолго. А я как?.. Веду шов, но гляжу в сторону, на отблеск. Этого не расскажешь, только я по отблеску сразу чувствую и понимаю, как шов идет, нутром понимаю.

— Все-таки грязная работа, копотная, — заметила белолицая спутница Мити.

— Само собой! — не обижаясь, ответил Николай. — После смены каждый раз под душ, а то и домой не пустят! — засмеялся он. — Я во вторую смену работаю. Хорошо — квартира рядом. А другие? Выйдут после смены в половине первого — а автобусы уже не ходят. И шуруй пешочком через весь город...

— И все во вторую? — покачал головой Степан. — Тяжело...

— Привыкаешь! Я и в воскресенье до двух часов ночи уснуть не могу. А как же! Прихожу домой в половине первого, поесть надо, то да се — вот и два ночи. Лег, уснул, а в семь домашние зашебуются: одному в школу, другому в садик, жене на работу. Так и живем!

— Не велика беда — двое! — возразила старушка. — Дивья жить! Раньше-то с лучиной вечерами сжививали, да в бараках за занавесочкой, а робятишек было — не сосчитать! У меня только — пятеро.

— Нас девятеро было, — сказала доярка и снова хорошо улыбнулась.

— А вы еще и лучину помните? — спросил старушку Борис.

— Как не помнить? Сама к соседям с чугуном за угольем бегала. Сыпанут красненьких угольков — и давай бог ноги, пока не потухли.

В купе протиснулся толстяк в пыжиковой шапке. Поставив портфель рядом со старушкой, он подозрительно покосился выпуклыми глазами на задремавшего Митю, разделся, уложив пальто и шапку на раскрытую вторую полку. Потом присел рядом со старушкой, причесал коротко подстриженные волосы, дунул на расческу и сунул ее в карман. Наконец, поправив галстук, новый пассажир повелительно откашлялся, будто собираясь сказать: «Начнем, товарищи!»

— Нонече-то все забываем, — продолжила прерванный разговор старушка. — Вишь вот — трехкомнатная у нас на пятерых, а все недовольны: утром шумно, зимой холодно. Да разве эдак холодать-голодать приходилось! Та же коза... Мужик на войне, дома малолетки, паек — одно название. Дожили одно время до ручки: сын, Володька, что провожал-то давеча, в лежку лежит. И решила я козу-то прирезать. Ноги связала, на стол подняла, таз на табуретку поставила. Плачу да режу, режу да плачу...

— Я хоть и в деревне живу, — смущенно улыбнулся Степан, — а курицы не зарезать, не то что теленка. Соседа зову, Митя Шорников у нас спец: и забьет, и ошкурит.

— Ты-то век свой тихоня! — Жена легонько толкнула Степана локтем.

Новый пассажир опять кашлянул и вмешался в разговор:

— Не понимаю я тех, кто курице голову не отрубит. Что за мужик? Я вот давно из деревни, а рука не дрогнет. Был бы нож острый... — Его выпуклые глаза ожились. — В армии однажды случилась история: прет на нас бык. Прямо сказать, бешеная скотина: глаза красные и копытом землю роет. Напарник мой струхнул, давай стрелять. Одна пуля, видно, попала — встал бык на колени. Ну, я приказал: не стрелять! Сам кинжал в руку, подскочил, лезвием по горлу хватил — тут бык и концы отдал. — Он самодовольно усмехнулся. — Нет, не понимаю таких, кто скотину не прирежет, — заключил он. — У меня — раз! — и готово!

Все замолчали. Новый пассажир, не почувствовав возникшей настороженности, продолжал, улыбаясь, предаваться воспоминаниям:

— А то еще случай был, когда я в техникуме учился. Хозяйка, у которой на квартире стояли, такая зануда попалась! Вечером убежим на танцы, она дверь на крючок, а сама глуховата. Воротишься, барабанишь-барабанишь, всех богов переберешь. Так мы чего удумали: после выпускного купили два килограмма дрожжей да в отхожее место и кинули. Опара поднялась, будь здоров! Воньща! Хозяйка пожарников вызывала, так те из брандспойтов наш «пирог» сбивали!

Он хохотнул и победоносно обвел всех выпуклыми глазами. Никто не улыбнулся. Несколько озадаченный

толстяк с минуту помолчал, потом неожиданно предположил:

— Хотите, анекдот расскажу? Умрешь со смеху! — и со вкусом принялся рассказывать сальный анекдот.

Анна отвернулась к окну, старушка неодобрительно поджала губы. «Умирать со смеху» явно никто не собирался.

«Интеллигент» Митя, казалось, дремавший все это время, вдруг выпрямился и с вызовом бросил толстяку:

— А ты ведь не человек, нет!

— Кто же я, по-твоему? — сразу посуровел тот и недобро прищурил свои выпуклые глаза.

— Дерьмо ты собачье...

— Митя! — укоризненно прозвучал испуганный голос его спутницы.

— Да как ты смеешь, пьяны! Ты соображаешь, с кем говоришь?! — взорвался толстяк.

— Не волнуйся, соображаю!

— Ну погоди... — толстяк поднялся, подхватил портфель и сунул его на полку, где лежали пальто и шапка. — Сколько раз закаивался ездить в общем! Набьется всякая шушера...

— Это кто тут шушера? — сжимая огромные кулаки, тихо спросил электросварщик Николай. — Мы вроде бы все люди рабочие!

— Да сам он и шушера! — отозвалась Анна. — Ишь, фон-барон с портфелем!

— Тьфу! — смачно плюнул толстяк и, подхватив в охапку пальто, шапку и портфель, подался в конец вагона.

— А что такое шушера? — е невинным видом спросил Борис.

Купе грохнуло смехом.



РАМЕНЬЕ

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Механика Раменской фермы Валентина Лунина, прозванного на деревне Чапаям, Мокрецов приметил издали, когда тот пробегал от силосной траншеи к кормозапарнику. Спутать было нельзя: во всем Раменье только Чапай не умел ходить шагом. Зоотехник, закипая от злости, свернул следом за ним по унавоженной, изрытой копытами земле.

«Все! Хватит! — распалил он себя. — На шею скоро сядет, прохиндей!»

Рванув низенькую дверь кормозапарника, наткнулся на благодушный взгляд хмельных Валькиных глаз, нахмурился.

— Михалычу физкультпривет!

— Брось Марфутку корчить, Чапай! Транспортёр посадил?

— Посадил?! Да ты что? Ты что, Михалыч, Вальку не знаешь? Валька-Чапай с любого положения выход найдет. Верно, было дело... Дак ведь звездочка полетела. Вот ты, Михалыч, скоро новую звездочку смекнешь, коли она полетела? А я тебе скажу, что не смекнешь ты новую звездочку, хоть и зоотехник. Это одно, а второе то...

Валька хитро прищурился, уселся на низкий припечек, извлек из кармана замусоленную пачку «Севера».

— Ты мне зубы не заговаривай. Доярки явятся, они тебе шороху наведут!

— Охолони, Михалыч! Ни в жизнь бабы мне шороху не наведут, потому — новая звездочка уж на месте стоит, и весь назем вычищен, как след быть. Ну, конечно дело, не без этого... Из своих кровных бутылку

мужикам поставил. Полно, полно бровками-то шевелить! Давай раздавим лучше моего «малыша» да и шабаш. Чево расстраиваться-то? Нечего расстраиваться! За Валькой Чапаям ты, Михалыч, как за каменной стеной.

— Тоже мне, стенка,—примирительно проворчал Мокрецов, наблюдая, как механик достает из-под печи «маленькую».— Председатель вон про твои художества узнал, грозился на ковер вызвать.

— Знаю, Михалыч, кто под меня копает,—грустно заговорил механик, обтирая стекляшку рукавом.— Анютка, змея, копает. Она, не иначе, Кустову жалится. А все почему? А потому, что она Вальку захомутать ладит. Да на Вальку хомут не вдруг взденешь, Валька себе цену знает. Разве Валька виноват, что Анютка вековой живет? Не виноват Валька, вот ни на столько не виноват...

Приговаривая, механик протянул Мокрецову почти полный стакан. Зоотехник поколебался, но стакан взял. «Черт с ним! Главное — транспортер в порядке, скандала с доярками не будет. Что ни говори, а руки у Чапая золотые. Вишь, лыбится, балаболка!»

— Чего зубы-то скалишь? Налетим мы когда-нибудь с тобой, как шведы! — ворчливо, но уже без злобы укорил механика Мокрецов.

— Начальства бояться — в магазин не ходить! — захохотал Валька. — А ведь как не ходить? Вино — дело одно, а второе то, что все последние известия только у Настюхи Осокиной и узнаешь. Залетаю я это с обеда в сельпо, а там две старушонки сошлись — Анфуска Носова да из Федяшинской Марья. Вот Марья-то, значит, и спрашивает: «Ой, Анфусья, голубушка, не видала-то тебя больно давно, дак каково живешь-то?» — «А добро, — говорит, — Марья, живу. Пошто топерь и не жить. Три сына у меня. Один-то в Мурманске, а два-те в Северодвинском. Серега-то в Мурманском больно много зарабатывает, да все пропивает! Вина нет, дак деколон пьет, деколону нет, дак чиферит... А я-то, Марья, добро живу, у меня полной подпол картошки!»

Мокрецов рассмеялся — так похоже изобразил Валька деревенских старух.

— Ну даешь ты, артист! Хрен с тобой, показывай транспортер, да еще сообразим.

— Это, Михалыч, абсолютно верная мысль, и я только что об том подумал. Потому как говорят: что

такое ни то ни се? Маленькая на двоих. Это одно, а второе — то...

Мокрецов махнул рукой и пошел в проход к молокоприемной. Оттуда доносились голоса, смех, звон бидонов: доярки уже собрались на вечернюю дойку. Штатных, «коренных» доярок всего трое: старшая — пенсионерка Клавдия Кострова, озорная и крикливая Анюта Марфина и молчаливая женщина средних лет Наталья Телицына. Двое остальных были в отпуске, их подменяли сейчас три школьницы из ученической бригады, в том числе и дочка председателя Томка Кустова. Все трое перешли в девятый класс.

— Привет, труженицы! — остановился на пороге молокоприемки Мокрецов.

— Здоров будь, зоотехник! — бойко ответила Анюта, которая, как полагал Чапай, хочет его «захомутать». — И на день-то тебе, парень, уехать нельзя, враз твой дружок че-нибудь напортачит!

— Анютка! — раздался из коридора угрожающий голос механика. — Нос дверями отдавлю!

— Дави! Новый сделают! Нос не транспортер, починят и без вина!

Рванул смех, загремел упавший на пол бидон, — его уронила перегнувшаяся пополам от хохота Томка.

— Вот язва-баба! — пробурчал механик, убегая в коровник.

— Так сделали транспортер-то? — спросил зоотехник.

— Не знаю, надолго ли его Чапай изладил, — недоверчиво сказала Клавдия Кострова.

— А еще раз изломается, так все лопатки черту долготу отобью! — выкрикнула Анюта.

Все снова расхохотались.

— Как молодежь себя чувствует? — обратился Мокрецов к девушкам. — Не сильно устаешь, Вера?

— Ничего, — скупно ответила красивая черноволосая Вера Морозова, дочь колхозного парторга.

— Последнюю неделю дорабатываем, Николай Михайлович! — широко улыбнулась рыжешькая Томка Кустова. — Готовьтесь к проводам! Спасибо-то хоть скажете?

— Что ты, не только спасибо! Да я вас всех расцелую, помощницы вы мои!

— Ой, Нинка, что будет! — до ушей покраснела

Томка, не опуская, однако, дерзких глаз под смеющимся взглядом Мокрецова. — А которую первую?

— Да замолчи ты! — толкнула ее плечом третья практикантка, Нина Осокина. — Пошли давай, коровы все изревелись.

— И верно, девушки, время! — заторопилась Клавдия.

На дворе, куда только что зашли с пастбища сытые, раздобревшие за лето коровы, было влажно, терпко пахло навозом. Доярки разбрелись по местам, громко переговариваясь. Заставив механика включить для пробы транспортер и убедившись, что Зорька Клавдии Костровой поправляется, Мокрецов подмигнул Чапая, и они двинулись к выходу.

— Опять Чапай пошел вино зырить? — ехидно бросила вдогонку Анюта.

— А тебе что за нужда? Не жена! — огрызнулся Валентин.

— Ох, была бы я жена, так ходил бы по другой тропке! Да ладно уж, скоро сама напою бесплатно!

— В субботу, Чапай, на совесть дежурь! — пошутила Клавдия. — У Анютки, вишь, именины. И вина уж купила!

— И купила! Не хуже других! Давай-ко и ты, Николай Михайлович, в субботу на вечернюю дойку к нам. Не говори, не говори ничего — осержусь, как не придешь!

— Приду, Анюта, приду, куда я денусь!

Захлопнув за собой дверь коровника, механик недоуменно покрутил головой:

— Вот ведь какой народ эти бабы! Утром только что не съела, а тут, вишь, на именины зовет. Согрешу я с ней, как пить дать, согрешу!

— А возьми да и согреши, — поддразнил Мокрецов. — Люди вы вольные. Фауст и Маргарита.

— Дак ведь, Михалыч, это такая Маргарита, что залезешь от нее под корыто. С ходу захомутаает. Это одно, а второе — то...

Валентин неопределенно хмыкнул и осекся. Мокрецов протянул ему деньги:

— На... Да пожевать прихвати.

— Опять, значит, туда?

— Опять, значит, туда.

Они расстались. Зоотехник неторопливо направился к мелкому березнику, за которым делала крутой поворот Ковровка, а Чапай чуть не рысью полетел в деревню.

...Ни одна складка не морщила малиновую вечернюю воду Ковровки. Под закатным солнцем знойно бронзовели стволами сосны на другом берегу. Мокрецов пригнулся в кустах на обрыве, утомленно обвел глазами омут, сплошь залепленный зелеными шаньгами кувшинок. Там и сям бережно закрывали свои сахарные бутончики длинноногие лилии. Миром, покоем, редкостной красотой веяло от задремавшей реки.

Зоотехник вдруг остро пожалел, что связался с Луниным. Куда бы лучше накопать червей, приткнуться с удочкой вон хоть под той ивой, где жируют матерые окуни. Да ведь обидится механик, а Мокрецов, что ни говори, за ним и впрямь, как за каменной стеной. Любая неполадка в фермском оборудовании для Чапая — семечки. По закону, конечно, выговор бы ему вклеить за пьянку — и весь сказ. Попробуй, влепи... Ишь, скажут, выкомаривается, кочка на ровном месте! Начальника из себя корчит, от людей отгораживается. Начальник тут один — Кустов. Других не потерпят колхозники да и сам Владимир Анатольевич. Так что криком да строгостью Мокрецову брать не с руки, только врагов наживать. Лучше ладить добром. С доярками оно проще: где пошутит, где улыбнется, где поговорит по душам. С механизаторами — не то. С парнями либо дружить, либо сторониться. Сторониться — дела не будет, да и сам ведь холостяжка, год всего после институтской скамьи, — без друзей с тоски зачахнешь. А дружить — без бутылки не обойдешься, время такое. Зато теперь Мокрецов для раменских ребят свой в доску. И самому приятно, и для работы не лишнее. Потребуется ремонт неотложный или другая какая надобность, только скажи: свою работу бросят — сделают.

— Только для тебя, Коля! Кто бы другой попросил, так...

Вроде как маслом по сердцу. Свои люди, не то что зануда Кустов...

Чапай появился на удивление скоро.

— Ну вот, Михалыч, мы и прибарахлились. Эх, не жизнь, а малина! Только водку и пить в эдаком раю! Красота!

— Пить, пить, — недовольно передразнил Мокрецов. — Когда напьешься-то?

— А сегодня дак и хватит: одну треснем, а боле не попрошу! — приговаривал Валентин, сноровисто расстилая газету. Положил на нее банку кильки, крупно нарезанный хлеб. Повертел в руках бутылку.

— Остудить бы ее, стерву, да вода теплая, никакого результата не будет. А, ладно и так!

— Может, не будем? — грустно пошутил Мокрецов.

— Давай-ко, верно! — в тон ему подхватил механик. — Кинем в реку да и все. Обязательно бы надо кинуть, только реку засорять не велят. Это одно, а второе то, что деньги плачены. Вот и живи как хошь: пить неохота, кидать нельзя.

Выпили, лениво пожевали.

— Ну вот, правда, скажи: зачем пить? — снова начал Мокрецов. — Красота кругом, тишина — живи, радуйся. Нет, нам, чудакам, обязательно надо отравиться.

— Дак никто, Михалыч, и не неволит, коли неохота. А причину, ежели желаешь, сейчас тебе разобъясню.

— Ну?

— Перво-наперво, как по телевизору говорят, ты меня уважаешь. За день-то сколько тычков получу: то от Кустова, то от главного механика, то от Анютки этой самой, заразы. И за человека себя уже не считаешь. А кому неохота человека в себе поддерживать, душу хоть на часок выпрямить? Вот ты со мной выпьешь, а мне приятно. Есть, думаю, и у меня друг, не совсем, выходит, Валька-Чапай пропащий человек. Это одно, а второе то, что бутылка теперь заместо валюты. Я тебе воздров, ты мне — бутылку. Я тебе сено привезу, ты мне — обратно бутылку, потому как денег от тебя я все одно не возьму, сам не нищий. А бутылку—чего? Бутылку раздавить можно с хорошим человеком. Опять же, третье дело: жить стали добро, дак надо, чтобы еще лучше. Ну, выше пупа не прыгнешь, а бормотуха тут как тут, у Настенки в избенке. А Настюха-то седни добрая, сама под мухой.

— Да ты, брат, — Платон! — удивился Мокрецов. — Все на свете объяснить можешь.

— Это смотря по тому, какое настроенье. А чем Платон лучше меня? Сидит на завалинке в своей Щепинской да веники вяжет, всего и дела-то ему.

— Объясни-ка, друг Платон, отчего бывает невесело жить на свете?

— А от бабы! Женился бы ты, к примеру, Михалыч, и никакой тебе тоски-грусти. Потому как ребятишки, хозяйство, опять же любовь эта самая. Охота бы жениться-то. Поверишь, эта язва Анютка ночами снится. А боюсь. Боюсь да и только. Захомукает она меня совсем, как старого мерина, ей бо, захомукает...

— Смотри, проворонишь счастье! Выскочит вот твоя Анютка за другого...

— За кого, за другого? — грозно выпрямился Валентин. — Да я ему ноги на голове завяжу!

— Брось ерепениться. Шучу!

— А ты эдак не шути. Тут шутки худые, — хмуро сказал механик, но через минуту снова подобрел, широко улыбнулся: — А сам-то, Коля, чего не женишься? Есть, чай, зазноба? Али нету?

— Верь не верь, Валя, а не нашлось. Девчонок в институте, конечно, навалом было, да... Которая тебе по нраву — занята, иной ты приглянешься, так самому не мила. Так и прокатились годики. Девочки были, само собой, не монахом жил, да такой, чтобы жениться потянуло, не встретил.

— Дак ты чего зеваешь-то? Маша вон Быстрякова, агрономша, — чем не пара?

— С ней ведь Игорь Куликов ходит.

— Отобьем! — Чапай решительно кусанул тушку кильки, швырнул рыбью голову под обрыв. — Меня, слышь-ко, не обманешь: примечаю, как она на тебя поглядывает!

— Ну нет! — улыбнулся Мокрецов. — Чужую судьбу ломать — последнее дело. Добро бы я жить без Маши не мог, а то...

— А ты, Коля, знаешь чего? Ты Тамарку Кустову, дочку председательскую, обхаживай. Девка — во!

Мокрецов расхохотался.

— Ой, замолчи, Цицерон! Она же только-только в девятый перешла!

— Годы — дело наживное! Зато у председателя в зятях — чем худо? Молчу, молчу... А скажи ты мне, Михалыч, тебя-то каким ветром в Раменье занесло? Поди-ко и ближе к городу устроился бы?

— Устроился бы, не проблема, да... Ты, Валя, знаешь, что такое «романтик»?

— А то? По телевизору все про это талдычат. Романтики — это которые «за туманом да за запахом тайги»...

— Не совсем, — засмеялся Мокрецов. — Романтик — человек, который мечтает. Вот и у меня было: заберусь, думаю, в какую-нибудь дыру и сотворю там справедливую жизнь! Как понимаю ее, такой и сделаю, и никто мне мешать не станет — на то и дыра! Ну вот...

— Дак чего? Не выходит?

— Какое! Наоборот, взавправдошня жизнь по носу щелкнула: не суйся, мол, не в свои сани! Без тебя в Раменье спецов по налаживанию жизни хватает!

— Кустов, что ли?

— И Кустов. И Морозов. И другие...

— Не понравилось, стало быть, у нас. А Кустов чем плох? Ты быков породистых попросил, дак он с ходу купил.

— Купить-то купил, а все с оглядкой, все с хитростью... Да ну его! Наливай, коли раздражил!

Солнце садилось, подсвечивало теперь лишь вершины сосен на том берегу. Облака над соснами потускнели, на воде закачались туманные струйки. После паузы Чапай хмельно и доверительно хлопнул зоотехника по колену:

— Дак мне-то чего делать? С Анюткой-то? Посоветуй, Михалыч!

— Женись! Вопросы нет.

— Кабы верно знать... Может, замуж охота, дак и шныряет глазенками-то. Это одно, а второе то — где жить? Матушка моя Анюту на дух не переносит. В приемеши? Не пойду. Совестно...

— Квартиру у Кустова проси.

— Один выход. А ты, Коля, вот чего, — Чапай пьянел прямо на глазах. — Ты вроде в Коврово сряжался?

— Завтра поеду.

— Сходи ты в универмаг, сделай доброе дело! Кименинам Анютке подарить надо чего-нибудь? Надо!

— А к примеру?

— Сам выбери, ты больше понимаешь. Я тебе верю...

— Ладно, посмотрю. Только и ты держись без меня.

— Да ты что, Михалыч! Без тебя я ни-ни! Думаешь, Валька — пьяница? А Валька не пьяница. Валька — мастер! На тракторе могу? Могу! На комбайне могу? Могу. На транспорте опять же... могу. Это одно, а

второе то, что ты для меня друг. Валька Чапай для тебя чего хошь сделает. Хошь, цветок достану из ому-та? Эту... л-лилию! Ну, говори, хошь? Эт я счас...

Неуверенными движениями он начал расстегивать промасленную рубаху.

— Сиди, Чапай! Смирно! Кому говорю?

— Не-ет, я достану... Думаешь, Валька Чапай не сплават? Валька за милу душу... сплават...

Мокрецов долго и нежно уговаривал механика успокоиться, пока тот не обмяк и не повалился в траву.

— Это одно, а второе то... — сонно протянул Чапай и пустил залиvistый храп.

Беспричинно смеясь и покачивая головой, Мокрецов ухватил Валентина за плечи, перетащил в ложбинку, подальше от реки.

— Вот и лежи тут, коли уснул. А я пойду. Я тут спать не стану, я привык дома спать...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Николая подняли петухи. Купаться, как всегда по утрам, не хотелось, однако пересилил себя, сбегал на Ковровку, поплескался в нахолодавшей воде. Похмелье будто рукой сняло, и обратно Мокрецов шел по-всегдашнему бодро. Жил он в большом обветшалом доме Клавдии Костровой, в отдельной комнате. Престарелая Клавдия давно получала пенсию, но с фермы не уходила, да еще была старшей дояркой. Каждую осень носила она в контору заявление:

«Председателю Кустову. Работать на дворе моих сил нету».

И всякий раз Кустов, откинув все неотложные дела, битый час уговаривал Клавдию «поработать хоть до нового года». Кончалось все тем, что Клавдия совала заявление в карман, а дома долго костила председателя:

— Обошел, разбойник! Улестил! Ой, дура старая, опять поддалась!

С Мокрецовым они жили дружно. Съев оставленные Клавдией два вареных яйца, выпив кружку молока, Николай заторопился в контору. Перед поездкой в район надо было увидеть председателя, а застать его в конторе летом удавалось только до восьми утра.

Кустов, пожилой, но крепкий еще мужчина с крупным мясистым лицом, окинул зоотехника хозяйским взглядом, от которого Николай невольно подобрался, насторожился.

— Здравствуй. На совещание снарядился?

— Сами знаете, вызывают.

— Знаю. Ты вот что, свежи попутно кой-какую отчетность в управление. Зарылись там в бумагах, продоху не дают. — Кустов раскрыл зеленую папку. — Так. Сводка по надоям за семь месяцев, плюс-минус к прошлому году. Сводка по привесам. Да вот эти две бумаги, экономисты просят. Сводка по яловости. Я тут поправил малость, велел перепечатать. Дело сдвинулось, на шесть процентов яловость сократили, молодец, зоотехник, твоя заслуга. Не настоял бы осенью с искусственным осеменением, так и до сего дня на яловух корм переводили бы...

— Пойдите, Владимир Анатольевич! — перебил Мокрецов. — Путаница какая-то. Я сам обследование проводил, сам сводку составлял. Не на шесть процентов сократили, а на восемь. Вряд ли больше двадцати яловух нынче наберется, да и тех выбраковывать надо, телками заменять.

— Мне лучше знать, на сколько процентов. Отчитаешься, не велика беда!

— Не пойдет! — Мокрецов, чувствуя, что закипает, опустил на стул. — Врать не обучен.

— Пойдет! — угрожающе насунил Кустов и положил на стол крупные, с клещеватыми пальцами кулаки. — Ты что, опять за старое?

Николай выдержал колющий взгляд маленьких острых глаз из-под седой шевелюры, точь-в-точь похожий на взгляд купленного недавно племенного быка, которого Чапай втихаря уже обозвал Кустовым. Председатель с трудом сдержал вспышку гнева, резко захлопнул папку, пододвинул на край стола к Мокрецову.

— Все! Отчаливай.

— Такую сводку не повезу, — уперся зоотехник.

И тут Кустов взорвался. Удар кулаком был столь силен, что будь на полированном столе стекло — разлетелось бы вдребезги.

— Пока я еще тут хозяин! Я!! Заруби себе на носу! Не нравится, не держу! Хоть завтра! Жалуйся! Обивай пороги! Новаторы, мать вашу!

Мокрецов, тоже еле удерживаясь от крика, схватил папку, вылетел из кабинета. Пытаясь успокоиться, заглянул к себе, швырнул папку на стол. Пальцы дрожали. «Ну нет! Не спущу! Хватит!» И, пнув подвернувшийся стул, ринулся к парторгу.

Бывший учитель, парторг Морозов со всеми говорил только назидательным тоном, что всегда раздражало Мокрецова, но больше идти было не к кому. Морозов встретил его приветливо, поднялся навстречу из-за куцега стола, который, впрочем, подходил к маленькой, с низко посаженными окнами комнатке парткома.

— Редко, редко заглядываешь, зоотехник! А зря. Ты к парткому поближе держись, поближе! Приглядывайся. Ты у нас ведущий специалист, стало быть, и пропагандист, и организатор, верно? Давай садись.

Морозов поднял бледный указательный палец в порицающем жесте:

— Что же заявление в партию не подаешь? Нехорошо. Могут указать — плохо идет работа по росту рядов. И тебя для примера приведут. А? Подведешь ведь меня!

Он говорил шутливо, но глаза оставались холодными, стальными.

— Это, Павел Павлович, с ходу не решается, — сдерживаясь, ответил Николай. — Сейчас я о другом...

— О чем? — смахнув с губ улыбку, осторожно спросил Морозов.

— Дело в бумаге или бумага в деле, как пожелаете. Я, понимаете, целый год бьюсь с искусственным осеменением. Оборудование заменил, кадры подготовил. Быков породистых купили. Старых коров помаленьку начали выбраковывать. Вот справки обследования по бригадам. Подозрение на яловость только у восемнадцати коров. А в прошлом году сколько их в зиму пустили? Восемьдесят! Есть сдвиг?

— Я не понимаю...

— Сейчас поймете. Вся оказия в том, что из района запросили сводку. Я подготовил: осеменение — сто процентов, яловость — два. И на тебе, Владимир Анатольевич своей волей исправляет: яловость — четыре процента. Говорю ему, что не повезу такую сводку. Рывкнул: «Кто хозяин в колхозе — ты или я?!» — и точка. Ладно, к рывканью я вроде привыкаю. Но не вижу ло-

гики, не понимаю — зачем врать? И вам ответственно заявляю: в таких условиях работать не буду.

— Экий ты какой! — поморщился Морозов.

Он снова поднялся из-за стола, прошелся от стены до стены, заложив руки за спину. Сухощавое, умное лицо парторга стало напряженным.

— А если это необходимо? — повернулся он к Николаю, поглаживая рукой черные прямые пряди на голове. — Если, допустим, просто тактический прием?

— Тактика на войне нужна, Павел Павлович, — устало ответил Мокрецов. — А мы с управлением пока что в стадии мирного сосуществования...

— Бес в тебе сидит, что ли! — рассердился Морозов. — Ты кого осуждаешь? Кустова! Он на своих плечах наш захудалый колхоз поднял! Четверть века ходим в передовых. Ему и на слово поверить можно: копейки для себя не взял из колхозного добра!

Морозов присел рядом на соседний стул, положил руку на плечо зоотехника, заговорил доверительно:

— Ты на проценты не молись. Вот в начале шестидесятых годов — ты, поди, и не помнишь, пацаном был — дали директиву распахивать клевера, сеяные травы и садить вместо них кукурузу. Тогда Владимир Анатольевич тоже процент изменил, да не на один, не на пять, а сразу — на сто! Показал сто процентов посева запланированной кукурузы, а ее и сотки не было. Понадеялся, что в нашу глухомань из райкома никого не потянет. Дело только к осени раскрылось. Схлопотал он тогда выговор с занесением, но клевера-то остались! Другие хозяйства потом сколько лет лихорадило, а мы перли в гору без остановки. Так и тут. О планах председательских ничего не спросил, а в бутылку лезешь. Запомни, Кустов зря ничего не делает.

— Да наплевать мне в конце-то концов! — махнул рукой наполовину убежденный зоотехник. — Случись что — вместе отвечать придется. Только обманывать противно.

— Ну-у, брат! В хозяйстве без этого нельзя. Какой же хозяин без тактики? Привыкнешь...

— Ладно, поеду в управление. Свезу эту липу.

— Вернешься — помирись с Владимиром Анатольевичем. Мужик он отходчивый, а поучиться у него никому не зазорно, хоть и академий не кончал. Нюх — будь здоров!

— Будешь с нюхом, не упадешь брюхом, — плоско сострил Мокрецов на прощанье.

Беседа с парторгом несколько успокоила его, но настроение по-прежнему оставалось пакостным. Всю дальнюю дорогу до Коврова Николай раздумывал, пытаясь проникнуть в тайны председательских планов. Что даст колхозу «липовая» сводка? В районе все равно предложат повторно осеменить «яловых» коров, и в следующем отчете они исчезнут. Если же допустить, что и следующий, и позаследующий отчеты тоже будут «липой», то куда Кустов денет пятнадцать неучтенных новорожденных телят? Как их оприходует, с неба свалились? Можно, конечно, оформить фальшивые документы, будто телята куплены в соседней области для ремонта стада, а деньги за них положить в карман. Но за это судят, да и прав Морозов — председатель не будет мухлевать ради своей выгоды. Для колхоза — другое дело. Принципы Кустова гибки весьма и весьма, когда дело касается «Зари Севера».

По совести-то надо бы начальнику управления обо всем доложить. Николай поморщился. Нет, доносом пахнет. В конце концов, может, Морозов дело говорит? Может, тактика?

В двухэтажный бревенчатый дом райсельхозуправления Мокрецов входил с тревожным чувством. Казалось, что его невольная ложь видна, как таракан в светлой бутылке. Но вопреки ожиданиям к сводке отнеслись с доверием.

— Несомненные успехи у тебя, Мокрецов! — поощрительно сказал главный зоотехник, тучный человек с багровым лицом. — Надои по сравнению с прошлым годом растут, племенную работу налаживаешь, вижу. Сколько яловух в прошлую зимовку пустили? Вот видишь, а снизил до четырех процентов. Понял теперь, что есть искусственное осеменение?

— Понял, — облегченно пробормотал Мокрецов.

Отсидев на совещании, где шла речь о повышении жирности молока, он вспомнил о поручении Чапая и забежал в универмаг, благо здание его из стекла и бетона высилось рядом с управлением. Впрочем, в Коврове все было рядом: и райком, и райисполком, и военкомат, и даже районная больница.

В универмаге Николай подолгу стоял перед каждой витриной, проклиная в душе Лунина. Всучил поруче-

нице! Ну что ей купить? Платок? А вдруг не понравится? Туфли? Размера не знает. Сувенир? Тоже можно опростоволоситься. Наконец, он облюбовал туалетный прибор, отделанный берестой в русском стиле: зеркало в виде кокошника и две берестяные шкатулочки перед ним. Облегченно вздохнув, отнес покупку в машину и направился в чайную пообедать перед дорогой. У самых дверей чайной его окликнули:

— Коля!

Мокрецов обернулся и сразу узнал в стройном темноволосом мужчине заведующего роно Кукушкина, который приезжал весной в Раменье с инспекторской проверкой и жил там неделю. Поздоровались, и только тогда Николай обратил внимание на спутницу Кукушкина. Она вроде бы с интересом, но в то же время и с беспокойством слушала их разговор, прижимая к груди ребенка.

— Попутницу не возьмешь, Коля? — с надеждой спросил Кукушкин. — С утра, понимаешь, ищу к вам машину. Позвонил в управление, говорят, Мокрецов здесь. Надо вот новую учительницу в Раменскую школу подбросить. Знакомься, кстати, Любовь Андреевна Лебедева. Рановато приехала, до занятий еще месяц, да что делать? Не отсылать же обратно. Свезешь ее прямо к Варваре Николаевне, она на квартиру определит. Место у тебя в машине есть?

— Есть, есть.

Николай снова, но уже внимательнее посмотрел на женщину с ребенком. Среднего роста, стройная, красивое, с тонкими чертами лицо. Но особенно поразили Мокрецова глаза: глубокие, синие, они вроде бы ждали чего-то, и ждали непременно хорошего.

— Вы обедали? — смущенно спросил Николай.

— Да, спасибо.

Голос женщины, как показалось Мокрецову, на диво сочетался с добрыми доверчивыми глазами, и даже с тем, что на руках у нее был ребенок.

— Тогда идите вон к тому двухэтажному дому. Видите у крыльца пыльный «газик»? Я перекушу и тронемся.

— Хорошо. Только вещи у меня на автостанции...

— Заедем, о чем речь!

Радуюсь неизвестно чему, Мокрецов распрощался с Кукушкиным, легко взбежал по ступенькам в прохлад-

ную полупустую чайную, не ощущая вкуса, поел на скорую руку и, торопливо рассчитавшись, вышел на улицу. Попутчица сидела не в машине, а в крохотном садике управления.

— Что же не садитесь?

— Неудобно как-то без хозяина, — тихо улыбнулась она.

— Едем, едем! — заторопил Мокрецов, чувствуя смутное желание поскорее увезти эту красивую женщину из райцентра, остаться с нею вдвоем. И то, что она не торопилась, вызвало в нем неясную ревность, как будто он уже приобрел какие-то права на нее тем, что согласился подвезти в своей машине.

У автостанции, маленького скособоченного домика, скучая, бродили десятка полтора разномастно одетых людей. Учительница пристроила спящего ребенка на сиденье, а сама исчезла в клетушке кассирши. Николай выбрался из кабины, похлопал руками по карманам, отыскивая сигареты. Пока прикуривал, Лебедева показала в дверях, сгибаясь под тяжестью громоздкого чемодана и большой кожаной сумки.

«Ох и осел же я!» — выругал себя Николай. Отшвырнув сигарету, он бросился навстречу женщине и перехватил чемодан. — Что ж вы не сказали! Тяжесть такая.

— Ничего, я — привычная!

— Как доехали-то с таким грузом, да еще с ребенком?

— Везде люди, — пожалала она плечом. — В городе таксист помог, в автобусе пассажиры, а теперь вот вы...

Укрепив вещи между передними и задним сиденьями Мокрецов сел за баранку, нажал стартер. При выезде из Коврова, там, где стоял помпезный щит с надписью «Счастливого пути!», машину сильно тряхнуло, но ребенок на руках учительницы и тут не подал голоса.

— Спокойный у вас малыш, Любовь Андреевна. Мальчик?

— Ванюшка, — смущенно сказала она, искоса взглянув на Николая теплыми глазами. — Бывает, что и плачет, когда голодный, а так — тихий. В меня, наверное.

Ребенок как бы отгораживал Николая от попутчицы, ставил преграду перед остро вспыхнувшим желанием сблизиться, начать откровенный, быть может, значительный разговор.

«Сколько ей? — гадал Мокрецов. — На вид — девушка совсем. Восемнадцать? А ребенок? Впрочем, с такой красотой...»

— Что же это муж отпускает вас одну в дальнюю дорогу? — внезапно охрипшим голосом спросил Николай и сразу возненавидел себя за фальшивый, неестественный тон, за пошлую фразу.

Она вздрогнула, посмотрела на личико ребенка, слегка приоткрыв уголок одеяла, потом подняла мгновенно уставшие глаза на Мокрецова и ответила ровным, ничего не выражающим голосом:

— Не было у меня мужа. Как говорится, мать-одиночка.

«Болван!» — снова обругал себя Николай, и тут же ощутил бурный прилив беспричинной радости. Чтобы дать какой-то выход этой радости, он резко надавил педаль газа, и машина, как подстегнутая лошадь, прибавила ходу. Быстрее побежали назад придорожные кусты малины, усыпанные алыми каплями ягод.

— Простите, я ведь не знал...

Долго ехали молча. Ребенок зашевелился, заплакал, и спутница попросила остановить машину.

— Мне его покормить надо, — застенчиво объяснила она.

— Пожалуйста! — с веселой готовностью ответил Мокрецов.

Он открыл дверцу и выпрыгнул на дорогу. Углубляясь в прохладу соснового бора, Николай осторожно прислушивался к чему-то теплому, хрупкому, что переполняло душу и состояло из радости, жалости к попутчице, желания защитить ее и еще из чего-то неопределенного, зыбкого. Стремясь не расплескать это непривычно сладкое и тревожное чувство, Мокрецов тихо ступал по мягкому мху, осторожно перешагивал трескучие ветки валежника, улыбаясь неизвестно чему.

Через полчаса он вернулся. Учительница, укачивая младенца, ходила по обочине дороги и, как показалось Николаю, взглянула на него со смесью застенчивости и лукавства.

— Пора?

— Не торопитесь! К вечеру так или иначе в Раме-ные будем.

— Так-то так, да лучше бы побыстрее... А что, Ра-

меньше — большое село? — спросила она, открывая дверцу кабины.

— По величине среднее, по значению — большое, — усмехнулся Мокрецов. — Сам первый секретарь обкома его постоянно в докладах вспоминает. Богато живем. Школу вот новую отгрохали недавно. Водопровод прокладываем, дома газифицированы...

— Я сейчас подумала — не рано ли собралась? До занятий целый месяц, а я ни одной живой души в деревне не знаю. И в городе немоготу стало. Я ведь сирота...

Сердце Николая защемило от жалости: такой беззащитной показалась она после этих слов.

— Ничего! — мягко сказал он. — Одну живую душу вы уже знаете...

— А-а... — обдала она Мокрецова синью глаз. — Ну если в Раменье все души такие, не пропадем!

— Точно! — подхватил шутливую нотку зоотехник. — Самая главная душа в Раменье — колхозный председатель, Владимир Анатольевич. Живет она-я душа под девизом: «Ндраву моему не препятствуй!» Под ним наши грешные души — специалистов и бригадиров. Окружают нас благородные души героических сельских тружеников. Каменной стеной! Пропасть никак невозможно.

Лебедева расхохоталась.

— В вашей схеме для учительских душ места не нашлось.

— В школе своя схема. Царствует там Варвара Николаевна Воронина. Бой-баба! Из всех нарядов ей больше всего подошел бы генеральский мундир.

— Пугаете?

— Зачем? Душа и у нее хорошая, только она в генеральской оболочке. Да вы сами убедитесь, Любовь Андреевна.

— Николай... — запнулась попутчица, как бы прося подсказать отчество.

— Просто Коля! — поправил Мокрецов, сбрасывая газ перед рытвиной.

— Хорошо, Коля. Тогда и я для вас — просто Люба. И не величайте, пожалуйста. При детях — другое дело, а так — неловко, не привыкла.

— С удовольствием... Люба! Или — Любушка?

— Ого! Да вам пальца в рот не клади! Скажите, Коля, а сами вы — местный?

— Нет. Год отработал здесь после института. Из города я.

— Земляки, выходит...

— Вы — тоже? А где жили?

— На Гоголя.

— Я — на Кирова. Вот совпадение!

И хотя никакого совпадения не было, потому что улицы находились в разных концах города, Мокрецов почувствовал себя гораздо увереннее. Эта недоступно красивая женщина сразу как бы стала ближе, понятнее тем, что росла в одном с ним городе.

— Мы ведь запросто могли встретиться, правда? — спросил он. — На танцах, скажем. Или на студенческих вечерах...

— Ох, как я устала... — вздохнула Люба.

Это было заметно по бледному, осунувшемуся лицу, по расслабленно опущенным плечам.

— Вот какой дуб вам попался, Люба! — укорил себя Мокрецов и остановил машину на вершине крутого холма. — Давайте отдохнем, посидим. Один вид отсюда усталость снимает. Да и до Раменья теперь рукой подать.

Лысая вершина холма сразу за дорогой была усеяна валунами, словно выпустили стадо овец. Люба с ребенком на руках присела на один из камней, оглядывая панораму далеких увалов, покрытых частой щетиной хвойных лесов. Внизу, под кручей, голубела широкая лента Ковровки. Петляя, она уходила влево, к Раменью. Склон холма, обращенный к реке, густо зарос ельником, в котором недвижно млеет прогретый, напоенный смоляным ароматом воздух.

Мокрецов опустил на траву у ног учительницы.

— Трудно мне будет с ребенком в деревне? — спросила вдруг Люба.

Николай замаялся. По тону вопроса он понял, что Любу беспокоят не внешние обстоятельства будущей жизни, а то, как примет ее Раменье и что будут говорить о ней. Помедлив, он ответил:

— Трудно. Сплетничать в Раменье любят, как и везде, а о свежем человеке — особенно. Надо не обращать внимания... а это нелегко.

— Нет, — покачала головой Люба. — Как же — не обращать? С людьми считаться всегда надо.

Снизу, от речки, к вершине холма поднималось несколько человек. Мокрецов тотчас узнал трех своих

практиканток из ученической бригады. Четвертым с удочкой в руках был одноклассник девушек Коля Куликов.

— На ловца и зверь бежит! — улыбнулся Любе Мокрецов. — Ваши будущие ученики, прошу любить и жаловать.

— Здравствуйте! — вразнобой сказали девушки, оттаптываясь у валунов. Волосы их не успели обсохнуть после купанья, глаза искрились лукавством, которое Мокрецов отнес на свой счет: «Думают, невесту привез!»

— Здравствуйте, — ответила учительница, искренне любясь румяными лицами девушек. — Искупались?

— Ага! — весело кивнула конопатая Нина Осокина, дочка раменской продавщицы.

— Николай Михайлович, вы на дойку придете? — обратилась к Мокрецову рыжеволосая Томка Кустова.

— Не знаю, Тома, как получится...

— Да... Обещали ведь!

— Ох и правда, последний день практики. Приду. А вы познакомьтесь: это ваша новая учительница, Любовь Андреевна.

Девочки потупились. Коля Куликов в замешательстве крутнул удилищем.

— Это в вашем классе нет учителя литературы? — спросила Люба, прерывая неловкое молчание.

— И в нашем, и в седьмом, — все так же широко улыбаясь, ответила Нина.

Девушки внимательно рассматривали новую учительницу. В белом с голубыми полосками платье, с тугим узлом белокурых волос на затылке, с чистым и свежим лицом, освещенным ясными синими глазами, она казалась почти ровесницей девятиклассницам, и потому ребенок на ее руках вызывал двойное любопытство.

Любопытство это отразилось у каждой из девушек по-разному. Если конопатенькая Нина Осокина смотрела на учительницу с нескрываемой доброжелательностью, то черненькая Вера Морозова опустила уголки губ, словно говоря: «Ну, какой это педагог!». Томка Кустова, взглянув на Любовь Андреевну лишь раз, больше не поднимала глаз.

— Ну что, чижики! — поднялся зоотехник. — Шуруйте в машину, подброшу до дома!

— Ура! — тряхнула рыжими волосами Томка и первая влетела на заднее сиденье.

— А ты чего, тетка? — спросил Николай Куликова, который по-прежнему стоял у камня.

— Я — пешочком.

— Вольному — воля, — улыбнулся Мокрецов, захлопнув дверцу.

Пыльный газик фыркнул и резво побежал прочь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Бабка Тюриха укачивала на руках своего постояльца — Ванюшу Лебедева.

— Мужик у нас растет, мужик! На работу Ваня скоро пойдет, трактористом у нас Ваня станет! Не люблю, грешница, мужиков, а уж ты так добер! Добер побер!

Ванюшка щурился на бабку, гулькал, показывал розовые десны.

К Тюрихе учительницу определил Мокрецов. Высадив на деревенской улице девчонок, он вдруг сказал:

— Что вам делать сейчас у Варвары Николаевны? Давайте я вас на квартиру устрою. Живет тут одна веселая старушка.

— Может, я ей не нужна вовсе. А обузой быть не хочу...

— Да вы Тюриху не знаете! Золотая бабка!

Николай осадил машину перед маленьким домиком, который, несмотря на свою миниатюрность, был сбит крепко, надежно. Отворив калитку, ветхую и расшатанную, он торопливо скрылся за углом. Вскоре оттуда показалась маленькая сухая старушка, вытиравшая руки рваным передником. Следом шел Мокрецов.

— Дак и пусть живут с богом, все веселяя, — приговаривала бабка, приближаясь к машине. — Вылезай, вылезай, ягодка, пойдем в избу. Гли-ко, растрясло-то всю. Ой да больно уж добра-то, больно пригожа-то! Люба, сказываешь? Пошли, деушка, пошли со Христом.

Люба взглянула в доброе морщинистое лицо с голубыми, не по-старушечьи ясными глазами и сделала усилие, чтобы не разрыдаться: таким родным, материнским повеяло от бабки с первой минуты.

— Спасибо, бабуленька! Устала я.

— Знамо устала. Как не устать, дорога-то лешева.

Худо, поди, вез-то барбос. Чево глядишь, неси чемодан в избу!

Учительница удивленно взглянула на Мокрецова, не понимая, чем вызван бранчивый тон бабки, но зоотехник лишь улыбнулся, подмигнул ей и, подхватив вещи, первым направился в дом.

Внутри избы были две крохотные комнатки, отгороженные друг от друга заборкой. Вместо двери в проеме заборки висела ситцевая занавеска. Маленькие окошечки, гладкие, словно полированные лавки, хромоногий стол, желтоватые, неоклеенные бревна стен, между которыми чернели полосы мха, — все было бедно, но чисто и создавало тот особый деревенский уют, к которому привыкаешь сразу, с первых мгновений.

— Ну поди, милоч, поди. Привез, дак и ладно. Не востри глаза-то!

— До свидания, Люба!

— Заходите, Коля! Спасибо вам.

— Не за что. Ну, бабка, пока! Давай руку!

— Ну тя к лешему! Тебе руку дай — плеча не угладишь.

Едва за Мокрецовым захлопнулась дверь, как бабка неодобрительно покосилась в окно.

— Ишь, барбос! Глаза-те так и зыркают. Не люблю я, грешница, мужиков. От их всему женскому роду обида да поруганье, от их. Давай, Любушка, робеночка-то на кровать положу. Намаялся, сердешный, да как не намаяться, эка дорога! Ужой-ко, спрошу я у Бирюковых: однако баню сряжались топить. В баньке тебя попарю, а то гли — все волосье в песке. Да в школе работать станешь?

— В школе, бабушка.

— Молоденькая-то экая! — бабка сочувственно покачала головой. — Сожорут тебя наши робетешки. Каждую ночь по деревне шастают, угомону на их нету. Ну да ежели кто слушать не станет, мне скажи, я им дам деру!

После бани Тюреха шустро сбегала в огород, поклдовала в крохотной кухонке за печью, и хромоногий стол начал покрываться тарелками со свежими огурцами, толченым луком, засахаренной морошкой, свежепросольными рыжиками. Запел маленький самовар, появился вчерашний початый рыбник.

Разомлевшая в деревенской бане Люба добавила на

стол свои городские припасы, села на скамью против бабки, растерянно и ласково улыбаясь. Вопреки ее опасениям, бабка не только не выказала недовольства ребенком, но сразу же прибрала его к рукам. Не успел Ванюшка подать голос, как Тюриха подбежала к кровати, развернула малыша, переменяла пеленки, да и теперь вот с рук не спускает.

Когда Ванюшка, наконец, уснул, уселись сумерничать у окна.

— Красота тебе большая дадена, Любушка, — неторопливо говорила бабка, ушивая потертую кофтенку. — Что лицом, что статью. Дак мужик-то где? Не спустили, видно, с работы. Ну-ко, одну-одинешеньку в дорогу снарядил.

Люба низко опустила голову. Который раз сегодня задавали ей этот жестокий вопрос! Он больно укалывал, заставлял заливаться стыдливым румянцем...

— Нет, бабуля, у меня мужа. Ванюшка, как у вас в деревне говорят, нагулянный — да?

— Ой ты, матушка! — уронив кофту на колени, жалостливо всплеснула руками бабка. — Не зря я на мужиков всю жизнь зло держу. Барбосы дак барбосы и есть. Ну-ко, экую красоту кинуть!

— Да он бы не кинул, — усмехнулась Люба, — Только мне-то он, такой, не нужен. Что уж теперь делать: ошиблась в человеке...

— Дак и умница, что прогонила. Нонече не ранешная беда, парня и без его выпестуем, пусть локотки-те покусает. Только, девка, на деревне, гляди, ославят. Ить на чужой-то роток не накинешь платок. Народ ноне щекотливой стал, живо сплетку сплетут, как вон про Настю Осокину, продавщицу нашу. Тоже с кем и связалась-то — с Сакиным!

Бабка в раздумье покачала головой, положив тяжелые руки на шитье, и вдруг победно улыбнулась, вскинула молодые глаза:

— А не бойся! Обижать не дам. Я их всех тут насквозь знаю, живо языки-те к зубам приколочу! А ну-ко, я дура не спрошу: отец-то с маткой у тебя где квартируют?

— Сирота я, бабуля. Отец умер, когда еще маленькая была, а мама в прошлом году...

— Ой-ей-ей! Хлебнула ты лиха, деушка! По самую по маковку хлебнула! А не тужи: хуже, чего было, не

будет. У меня вон тоже попереживано да поревлено, хоть гряды Тюрихиными слезами поливай. Ну беда, говорила я тебя, а ты ведь с дороги. Ложись-ко, Любушка, отдыхай!

Бабка Тюриха, охая и крестясь, полезла на печь. Люба постояла в раздумье посреди комнаты. Надо бы написать письмо Лиде, институтской подружке, разобрать вещи, постирать пеленки... Но вместо всего этого она тихонько приблизилась к кровати, на которой мирно посапывал сын, неторопливо разделась, прилегла с краю.

«Трудно будет», — вспомнились слова Мокрецова.

Правду, конечно, сказал. Никуда не денешься от вопросов: как, почему, от кого?.. Что отвечать, если даже для себя самой ох как нелегки эти вопросы. Да другим-то скорее ответить можно, а себе — как? Конечно, не за семью морями Митя Двойников, да что толку? Унижаться перед ним? Лучше головой в омут...

Как-то сложится жизнь на новом месте? Уж не о счастье мечтать теперь, хоть бы простая-то жизнь наладилась. А счастье ей теперь заказано, да, заказано на двадцать втором году...

Никто ведь не поймет, каково пришлось ей в первое время.

Конечно, утешали.

Конечно, не маленькая.

Конечно, все прекрасно понимала, чувствовала, осознавала.

И все же...

Люба зябко вздрогнула, встала, чтобы прикрыть окно, на минутку присела возле него на лавку. Сидела неподвижно, не в силах шевельнуть рукой. Казалось, она пристально вглядывается в еле различимые порядки притихшей ночной деревни, но только казалось, потому что глаза ее, устремленные в глубь себя, вряд ли замечали даже огородик бабки Тюрихи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Выспаться Мокрецову снова не удалось. Настроение испортила хозяйка, Клавдия Кострова, еще с вечера, когда зоотехник собрал животноводов в красном уголке и произнес чуть ли не торжественную речь, расхва-

ливая девушек из Раменской школы, которые целый месяц подменяли ушедших в отпуск доярок.

— Работали вы, Вера, Нина и Тамара, прямо скажем, отлично! Надеюсь, что в октябре, на школьном празднике урожая, колхоз оценит ваш труд по достоинству, наградив ценными подарками. Сегодня мы прощаемся с вами, практика у вас закончилась, но мой вам совет: ферму не забывайте! Знайте, что здесь вам всегда рады. Верно, товарищи?

— Кабы еще-то маленько походили, дак вот бы добро-то! — сказала Клавдия. — Завтра ведь Лидкину группу некому доить, Николай Михайлович.

— Как — некому? А Лидия где?

— Не приехала Лидия. Третью неделю у дочки гостит в Архангельске, ни слуху ни духу...

— Ладно, тут мы сами разберемся, — не подумавши, сказал Николай. — А за практику девчатам еще раз спасибо!

— И вам спасибо, Николай Михайлович! — ответила Томка Кустова.

— Вот те раз! Мне-то за что?

— Как — за что? За науку!

Все рассмеялись, распрощались и разошлись. Мокрецов отдал Чапаю покупку. Подарок понравился Валентину чрезвычайно.

— Обмыть надо, Михалыч, — бодро сказал он, — потому как это одно, а второе — то...

— Все, все, все! — оборвал Мокрецов. — Будет, набывались. Дуй на свидание, мойщик!

Только вернувшись домой и поговорив с Клавдией, Николай понял, какого дурака сваял. Надо было изо всех сил поддержать старшую доярку, уговорить девчонку поработать хоть неделю. Ведь Лидия могла и вовсе не приехать, а подбирать новую доярку — и неделей не отделаешься. Кляня себя за глупость, он поднялся до солнышка и вместе с Клавдией пошел на ферму.

— Сам буду доить! — мрачно пошутил он дорогой. — Так мне, остолопу, и надо!

— Не велика беда, — посмеивалась Клавдия. — Доить обучен, вместо физзарядки долго ли!

Доить ему, однако, не пришлось. В молокоприемной, зевая и потягиваясь, сидела Нина Осокина.

— А ты откуда взялась? — удивился Мокрецов.

— Коров-то не бросишь, Николай Михайлович.

Я после Лидии ее группу приняла, мне и дожидаться хозяйку...

— Вот спасибо, Нинушка, выручила! — обрадовалась Клавдия. — А мы-то все израсстраивались: группу на четверых делить — только коров портить. Молока не прибудет...

— Умница! — повеселел и зоотехник. — Красавица ты моя! Расцеловать тебя мало!

— Других целуй! — засмеялась Нина, убегая в коровник. — Целовальщик!

Уходя с фермы после утренней дойки, Николай нос к носу столкнулся с Кустовым и вконец растерялся, не зная, как вести себя с ним после вчерашнего. Председатель как ни в чем не бывало протянул руку.

— Здравствуй. Не приехала Лидия?

— Нет...

— А что Телицын?

Телицын, раменский бригадир, не показывался на ферме больше недели: на носу была уборка, и он дневал и ночевал у сушильщиков, у механизаторов.

— Да что — Телицын! Новую доярку не родит.

— Где уж ему! — хохотнул Кустов. — Не мычит и не телится наш Телицын. Придется Тюриху звать.

— Обойдемся, Владимир Анатольевич. Нина Осокина согласилась доить, пока Лидия не приедет.

— Нинка? Молодец, девка! — еще больше повеселел Кустов. — С механизмами порядок?

— Порядок. Чапай следит.

— Следит твой Чапай, когда лавка откроется. Хоть бы ты его женил, что ли!

— Стараюсь... — отшутился Мокрецов, удивляясь в который раз умению Кустова несколькими дружелюбными словами замять самую жестокую ссору.

— Ладно, гора с плеч. Пойдем, зоотехник, посидим на солнышке, погреемся.

Они подошли к штабелю непиленых дров возле кормозапарника, присели на бревно. Солнце высоко поднялось над лесом, пригрело, но от обильной августовской росы веяло холодком. Пастухи проводили стадо, на ферме стало тихо, как в заброшенном доме.

— Каково съездил? — все так же дружелюбно, по-свойски спросил Кустов.

— Отчитался... — сдержанно ответил Николай. — Замечаний не было.

— Ну вот, а ты боялся,—довольно усмехнулся председатель.—Испокон веку ведется: хочешь жить, умей вертеться.

— А все-таки не доходит, Владимир Анатольевич, почему...

— Дойдет! — уверенно перебил Кустов. — Помнишь нашу стычку прошлой осенью? Кто прав оказался?

Зоотехник покраснел. Кустов попал в больное место. Тогда, после института, под завязку набитый идеями и замыслами, Мокрецов в первые же дни предложил председателю перестроить колхозное животноводство: бригадные фермы снести, построить механизированный комплекс на тысячу голов с полной механизацией, с двухсменной работой, с культурными пастбищами, доярок из бригад переселить на центральную усадьбу, в дома со всеми удобствами.

Кустов слушал его тогда не перебивая, только в глубине колючих глазок таилась усмешка. Потом встал, прошелся по кабинету и неожиданно хлопнул Николая тяжелой ладонью по плечу.

— Мечтать умеешь зоотехник — хорошо! Только ты эти самые мечты положи в ящик пятилетки на две. Время им не приспело.

— Как же не приспело? — изумился Мокрецов. — Во многих хозяйствах комплексы уже действуют!

— Действуют во многих. А во многих ли хорошо действуют?

— Я вас не понимаю...

— И понимать нечего. Чем ты свою тысячу коров кормить зимой станешь?

— Сейчас ведь кормим...

— Сейчас — да. Потому что в каждой бригаде сено травы силосуем, сенокосы выкашиваем. А свежи народ в кучу, забрось старые деревни — считай, что вместе с ними и поля, и сенокосы забросишь. Возьмем мы тогда нынешнее сено, нынешний силос? Да ни в жизнь! Думаешь, ты первый о комплексе в «Заре Севра» заговорил? В райкоме за жабы брали: строй! Еле отбоярился.

— И зря! — упорствовал Мокрецов.

— Нет, не зря! На тысячу голов, говоришь? Ладно, буду строить на тысячу голов, но не раньше, чем ты, зоотехник, обеспечишь мне устойчивую кормовую базу для двух тысяч. Не раньше! И — устойчивую!

— Это дело агрономов.

— Вот-вот... Дойди до сути, и начнете переваливать с одной головы на другую. А потом: куда навоз денешь?

— Технология разработана: в навозохранилища, потом в компосты и на поля.

— Опять же болтать легко! Вон в «Дружбе» комплекс на пятнадцать тысяч откормочников... Строили, тоже говорили: в навозохранилища, потом — на поля. Два навозохранилища по восемь тысяч кубометров забили под завязку — то и дело их прорывает, все окрестные речки загадили. Так что добром тебе говорю: из головы не выбрасывай, а на две пятилетки отложи.

Убедить Мокрецова председатель так и не смог. «Ретроград! — Не находя себе места, горячился Николай. — Плюшкин! Опомнися, когда кругом вырастут агрогорода, останется на правах бедного родственника в своем занюханном Раменье! И за каким чертом меня сюда понесло! У такого самодура развернешься!»

И по сию пору зоотехник не был убежден в полной правоте Кустова, хотя и понимал уже, что без мощной местной кормовой базы комплекс — затея безнадежная. Но ведь базу тоже люди создают! Поэтому сейчас, после затяжной паузы, он ответил на вопрос Кустова:

— Тем не менее можно начинать. Хотя бы проектную документацию заказать.

— А все-таки она вертится! — захохотал Кустов. — Эх ты, Галилей! Давай-ка лучше поразмыслим, где нам людей взять. В резерве-то одна бабка Тюриха!

— С неба не свалятся, Владимир Анатольевич. Надо в школе девчонок уговаривать. Как хорошо этот месяц было, пока на практику они ходили...

— Тебе да мне хорошо. А моя принцесса, Томка-то, вся изнылась: утром вставай до солнышка, и вечером работа до поздней ночи... Эта в колхозе нипочем не останется.

— В других местах остаются. Всем классом. И нам бы такую агитацию провести. Может, займется Морозов?

— «Всем классом — в доярки!», «Всем классом — в механизаторы!». А не боишься, что в какой-нибудь школе лозунг выкинут: «Всем классом — в артисты!» или «Всем классом — в космонавты!» Смешно? То-то и оно. Значит, не так мы где-то делаем, коли одни лозунги — смешно, а другие — смех сквозь слезы. Втыки получаем

из района да из области: не ведете, мол, работу с молодежью! А кстати, пораскинь мозгами, кто больше-то всех кричит, что неблагодарная молодежь не желает оставаться в деревне? Кто? Да тот, кто сам из деревни убежал и не столько вкалывает, сколько баклуши бьет за конторским столом. Предложи-ка такому субчику вернуться в родные палестины — весь патриотизм наизнанку вывернется. Нет, скажет, пусть кто-нибудь другой ломит от зари до зари да месит метровую грязюку на тракторных дорогах. Другие пусть мокнут под дождем, стынут под ветром да примораживают пальцы к студеному железу! Мы уж как-нибудь доживем свой век в городах, где работенка непыльная и по магазинам побегать можно. Будь моя воля, прикрыл бы три четверти городских контор, а на работу принимал только по специальности — сразу бы десятки тысяч в деревню подались! Да вот воли-то моей нет...

Мокрецов во все глаза смотрел на председателя — таким необычным был Кустов, когда с болью выливал накипевшее. Глаза его сверкали умно и зло, мясистое лицо построжело. Вот тебе и самодур, зажавший в кулак все Раменье! А он-то еще спорил вчера насчет каких-то несчастных двух процентов...

— Поагитировать в школе, само собой, не лишнее, — продолжал Кустов. — А с другой стороны, я тебе прямо скажу: Тамарку насильно дома держать не стану. Потом и слушай упрёки: дескать, жизнь загубил. Морозов свою Верку тем более до колхозной работы не допустит, она у него одной ногой уже в институте. Такие-то, брат, дела...

Помолчав, председатель спросил:

— Ты куда сейчас?

— На Щепинскую ферму собрался.

— Валяй. Потолковать бы нам с тобой надо, зоотехник, собраться, за чаркой посидеть, да дела-то все заедают. Покачу опять в Федоровскую, завалит там Барабашкин, чую, всю уборку. А знаешь чего? Заглядывай-ка ты ко мне, Коля, в выходной, часикам к шести. Заметано?

— Хорошо, — неуверенно согласился удивленный Мокрецов, окончательно забывший о вчерашней стычке.

Перед тем как ехать в Щепинскую, Николай на минутку забежал в колхозную контору. В комнате для специалистов сидела одна Маша Быстрякова, агрономша

из местных, окончившая институт на колхозную стипендию.

— Здравствуй, Маша! Как ночевала? Женихи снились?

— Ну, Мокрецов! Кто тебе только язык подвешивал! Не Валька Чапай?

— Не помню, Маша, ей богу, а то бы сказал.

— Ты лучше скажи, кого вчера на машине по Раменью катал. Не жена ли тебя, Коля, навестила?

— Угадала. От первого брака.

— Вон она, легка на помине. Вырядилась-то!

Николай приник к окну. Маша не ошиблась: мимо конторы в строгом темно-синем костюме шла его вчерашняя спутница. Мокрецов опрометью бросился к выходу мимо ошеломленной агрономши.

— Люба! — негромко окликнул он, нагоняя учительницу.

Она вздрогнула, испуганно обернулась, но, узнав Мокрецова, улыбнулась своей доброй улыбкой.

— Здравствуйте, Коля. Куда так спешите?

— Да вот... — замялся Мокрецов. — В бригаду собрался. Не хотите со мной прокатиться?

— Нет, спасибо, — отказалась она. — Я тоже по делам: Варвару Николаевну навестить.

— Ни пуха ни пера! — пошутил Николай, а в груди заняло: неужели вот так и разойдутся сейчас?

— Знаете что? — торопливо заговорил он. — Давайте вечером в бор за грибами сходим?

— Не зна-аю, — посерьезнев, протянула Люба. — Не совсем, наверно, это удобно...

— Хороший у нас бор... — с мольбой посмотрел на нее Николай. — И грибы, говорят, носят.

— Вечером увидим, Коля. Пока!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Люба поднялась, по ее понятиям, рано, но в деревне уже отдымили печи, коровы успели наесться и прилегли на прибрежном лугу, а где-то в полях стрекотал комбайн, делавший пробный выезд. Бабка Тюриха, не решаясь будить гостью, которая ночью раз пять укачивала плачущего Ванюшку, все подогревала самовар. Люба не спеша умылась колодезной водой, напилась

чаю, накормила и уложила сына. Подумала: с чего начать? Раскрыла свой чемодан, вытащила кусок цветного штапеля, ножницы, иголку и нитки.

— Давайте, бабушка, нашу келью украшать!

— Ой, гли-ко, матерья-то больно добра. Дак пошто портишь-то? Платье бы сшила.

— На платье не годится. Не модно.

С помощью бабушки Люба подрубила и повесила новые занавески на окна, на заборку, прибила к стене книжную полку, прикрепila несколько гравюр. Бабку новое убранство умилило чрезвычайно. Лишь на минуту она затумила, робко спросила:

— Икону-то, поди, топере убрать, Любушка? Я коли на кухне повешу...

— Что ты, бабушка! Не мешает мне икона, даже уютнее как-то, стариной пахнет, — просто ответила учительница, чем окончательно расположила к себе бабушку.

До блеска вымыв тесовые полы, Люба поручила сына бабкиным заботам и стала собираться в школу.

— Школа-то нонече, гли-ко, и не работает, — напутствовала ее Тюриха. — Дак ты, Любушка, к дилехторше сходи. Близехонько от школы: дом-от как под шихерной крышей углядишь, дак тут и живет Варвара-то Николаевна.

— А дома она?

— Да как не дома, всяко дома. Огородище экой, да корова, да овчишки, некогда из дому бежать. Живет одна, две девки есть, дак топере в городу...

Бабка оказалась права: на дверях двухэтажной кирпичной школы висел аккуратный замок. Присадистый дом под шиферной крышей Люба заметила сразу, хотя его почти целиком укрывали разросшиеся березы.

Тут-то и окликнул ее Мокрецов. Простившись с ним, Люба поняла, что обрадовалась встрече. Понравилось ей и явное смущение Николая, и его робкая просьба. «Схожу за грибами, если бабушка отпустит!» — неожиданно решила она.

Легко перепрыгнув маленькую канавку, Люба взялась за кольцо плотно сколоченной калитки, но басовитый лай собаки во дворе заставил ее торопливо отдернуть руку. Лай тотчас отдался эхом в других дворах, и чья-то пятнистая собачонка опрометью выскочила на дорогу, повертела головой и, заметив Любу, агрессивно понеслась к ней.

Но в это время калитка резко и с грохотом распахнулась, и собака отскочила в сторону. Босая рослая женщина в подоткнутом переднике недружелюбно уставилась на учительницу.

— Мне необходимо видеть Варвару Николаевну Воронину.

— Я — Воронина, — басом ответила женщина. — По какому делу?

— Видите ли, я — учительница литературы, в вашу школу направлена.

— Заходите. В дом не зову, не прибиралась. На веранде посидим.

Воронина, обтерев передником выпачканные в земле руки, уверенно поднялась на скрипучее крыльцо, села на деревянный крашеный диванчик и указала Любе место рядом с собой.

— Ждали. Не так скоро, а ждали.

Голос Ворониной, басовитый и отрывистый, и сама манера говорить, резко рубя фразы, производили впечатление такой властности и силы, что Люба невольно вспомнила определение, данное директору школы Мокрецовым. «И верно, генерал!» — подумала она.

— С жильем как? Устроилась? — поинтересовалась Варвара Николаевна и, получив ответ, одобрила: — Это ничего, подходяще. Бабка — человек с достоинствами. Школу видела? Хорошая школа. Четыре года я за нее воевала. Звать как? Подходяще, — снова одобрила она. — Нагрузка у нас большая, часов тридцать. Старшие классы. Потянешь? Насчет классного руководства посмотрим...

Люба откровенно любовалась богатырским бюстом директрисы, ее уверенными движениями. Странно, но ее не покорило ни бесцеремонное обращение Ворониной к ней с первых слов, ни беззастенчивая прямота ее вопросов.

— Молодая... — пытливо оглядела новенькую Варвара Николаевна. — Через год замуж и — поминай, как звали?

— Вряд ли, матерей-одиночек нынче замуж не берут, — горько улыбнулась Люба.

— Это как понимать? — нахмурила широкие брови Воронина. — С ребенком, что ли?

— Точно. С ребенком.

— Успела... — собеседница неодобрительно покачала головой. — Отец кто?

— Не имеет значения, Варвара Николаевна.

— Не имеет значения! У вас все не имеет значения. А как я тебя, милая, ученикам представлю? Они ведь лбы — тебя выше, все понимают. Деревня... Здесь ничего не скроешь. Ну вот что... Дисциплину не наладишь — плакаться ко мне не ходи. Не люблю.

— Ладно, — кивнула головой Люба. — Не приду.

— Хм, — покосилась на нее директриса, и во взгляде ее впервые проскользнуло любопытство. — Гордая. Давай, голубушка, пока отдыхай. Привыкай к Раменью. Тут подходяще. А у меня, не обессуди, хлопот полон рот. Успеем еще, наговоримся и наругаемся. Надоест.

Каждое слово Ворониной, взятое отдельно, было обидным, но удивительное дело: все вместе они производили впечатление незлобивой, добродушной воркотни. Чутье подсказывало Любе: директриса и не помышляет обидеть или уколоть ее — просто она такая, как есть. Как врытый посреди дороги столб: ругайся или обойди, не замечай или бейся об него головой — он такой, и все тут.

— Скажите, Варвара Николаевна, ученики вас боятся?

— А что, заметно? — Воронина польщенно шевельнула бровями. — Боятся-не боятся, а попадать ко мне в кабинет охоту отбила. Заходи как-нибудь вечером. Сына приноси. Сын?

— Сын.

— Ох, девки, отчаянный вы народ!

Размышляя о первой встрече со своим начальством, Люба шла по широкой главной улице Раменья, на которой разместились все учреждения. В двухэтажном, почерневшем от времени доме помещались и сельсовет, и контора сельпо, и сельская библиотека. Напротив, чуть в отдалении, красовался свежей тесовой крышей клуб. Новым выглядел и дом с табличкой «Правление колхоза «Заря Севера». У крыльца, возле доски Почета, стояло несколько мотоциклов и знакомый Любе «газик», на котором привез ее вчера Мокрецов.

Постукивая каблуками по деревянным мосткам, Люба прошла дальше, к сельповскому магазину. Все с тем же бодрым ощущением новизны поднялась на высокое крыльцо, открыла тяжелую дверь.

Ей не приходилось раньше бывать в сельских смешанных магазинах, и потому она с интересом осмотрела витрины, где вперемешку лежали бритвенные лезвия и дешевые кольца, флаконы духов, игральные карты и расчески. На полках, позади витрин, так же вперемешку грудились женские и мужские сорочки. Отдельно на вешалках топорщились пальто и костюмы. Справа, за другим прилавком, полки были уставлены водкой, рыбными консервами; ниже в ящиках россыпью сверкали конфеты и глазированные пряники.

Люба решила купить в подарок бабушке темную шерстяную кофточку и кое-что из продуктов и встала в хвост маленькой очереди. Продавщица, женщина лет тридцати восьми, спросила, когда подошла очередь:

— Вы не новая учительница будете?

— Да, учительница, — ответила Люба, удивляясь, как быстро стало известно о ее приезде.

— Больно уж вы моей Нинке поглянулись. Такая, сказывает, приветливая — видать, добрая... Вы у Тюрихи устроились?

— У нее.

— Бабка проворная, ходовая. И за мальчиком приглядит, лучше няньки не надо.

«И об этом уже знают!» — Люба даже слегка вспотела. Между тем продавщица бегло оглянулась и, хотя в магазине они остались одни, понизила голос до шепота:

— Вы меня не обходите. Настей меня зовут. Настасья Петровна, значит. Ежели потребуется чего из одежды или там из продуктов, скажите только — достану.

— Да зачем? Ничего доставать не надо.

— Не скажите! — снова жарко зашептала Настя, облокотившись о прилавок. — У нас так заведено. И председательша, и директорша ваша, Варвара Николаевна, и Морозова со мной дружбу водят. На всех, конечно, не напасешься, а хорошему человеку как не пособить?

— Не будем об этом, Настасья Петровна. Покажите-ка мне лучше вон ту кофточку.

— Да пожалуйста! Только расцветка-то старушечья. Я вам получше найду.

Настя гибко нагнулась и выхватила из-под прилавка красивую яркую кофточку.

— Цена одинакова, а вид другой.

Люба заколебалась было, не в силах оторвать глаза от яркой ткани, но все же решительно отодвинула ее.

— Для бабушки пестро очень.

— Так вы — Тюрехе? Тогда, ясное дело, темную надо. А берите обе!

— Нет, нет, — категорически покачала головой Люба.

Завернув покупки в газету, она попрощалась и направилась было к выходу, но тут дверь отворилась, и в магазине появился сухопарый мужчина с узким птичьим лицом. Выглядел он не по-деревенски щеголевато: легкий, песочного цвета костюм, из-под рукавов пиджака видны обшлага модной сорочки, на голове соломенная шляпа, на ногах дорогие сандалеты. Окинув учительницу жестким, сверлящим взглядом, он заговорил мягким, вкрадчивым голосом:

— Как жизнь, Настюша? Ни за что тебя, голуба, не обойдешь, кажинный день тянет в родное заведение.

Контраст между взглядом и голосом незнакомца был столь разителен, что у Любы пробежал холодок меж лопаток, словно туда внезапно сунули холодного, скользкого ужа. В смятении она обернулась на продавщицу, которая, как ей показалось, сделала знак, чтобы учительница не покидала магазин. Люба задержалась у витрины, но мужчина приблизился к ней и, продолжая сверлить взглядом, отрекомендовался:

— Сакин, Константин Андреевич. Прошу любить и жаловать — председатель Раменского сельпо. А теперь, гражданочка, ежели вы все необходимое в нашем магазине приобрели, попросим оставить нас с Настюшей вдвоем. Дела, знаете, служебные...

— Да, да, конечно, — заторопилась Люба.

— Что вы людей-то гоните! — сказала вдруг Настя сдавленным голосом.

— А я не гоню, Настенька, не гоню. Покупатель, он покупать должен. А ежели купил, так и все в ажуре, и до свидания.

Пожав плечами, Люба вышла на прокаленное солнцем крыльцо и облегченно вздохнула. Она постояла мгновение, любуясь многоступенчатыми сугробами облаков в пронзительно синем небе.

— Здравствуйте, Любовь Андреевна! — окликнула ее одна из вчерашних знакомых, конопатая Нина Осокина. — В магазин ходили?

— Здравствуй... Нина, наверное? Это твоя мать в магазине торгует?

— Да, — потупилась девочка. — А вы не видели, этот там?

— Там, — машинально ответила Люба. — Постой, кто — этот?

— Да ну его! Можно я к вам зайду, Любовь Андреевна?

— Конечно, пойдем, если хочешь. Что это, вид у тебя какой-то усталый. Не выпалась?

— А! — Нина улыбнулась и покраснела, отчего все конопушки ее сразу исчезли. — Нет хуже, как сон перебьешь. Коров подоила, молоко сдала — хотела еще поспать. Вертелась-вертелась — все попусту.

— Постой! Вы вчера говорили, что последний день на ферме?

— Не приехала моя напарница из гостей, а коров не кинешь. И деньги нужны. Похожу пока...

— Обновку, наверно, задумала купить?

— Да нет...

Когда они вошли в дом, бабка Тюриха воевала с Ванюшкой.

— Ой, мялка, чистая мялка! Все бы скакал! Гли-ко, Любушка, разбойник-то... Только посажу — и заревит. На ноги поставлю — давай скакать. Эвон, что делает-то, эвон! Все руки бабке оттряс!

— Дайте мне его, бабушка! — попросила Нина.

— На, деушка, поведись. Тихонько только, не побей.

На руках у Нины Ванюшка завертелся, заерзал, разразился звонким плачем.

— Есть хочет, — сказала Люба. — Дай-ка, я его покормлю.

Она успела переодеться, сменив костюм на домашний халатик. Не стесняясь, оголила пышную, налитую молоком грудь и блаженно полуприкрыла глаза, когда Ванюшка приник к ней.

— Каково живешь-то, Нинушка? — спросила Тюриха.

— По-всякому, бабушка.

— Пьет матка-то?

— Бывает. Ругаемся все. Велю уходить из продавщиц.

— И верно, Нинушка, и молодец. А она чего?

— Да вроде и соглашается, а не рассчитывается. Не знаю, чего и делать.

— Оплел ее Сакин, змеинная головушка, оплел! Си-дела бы счетоводом-то в конторе. Какая баба-то была умная да баская, а гли-ко, одне мощи остались. Нет, Нинушка, ты не уступай.

— А при чем тут Сакин? — насторожилась Люба, вспомнив неприятный взгляд председателя сельпо, который представился ей в магазине.

— Дак у ево одна пьянка да гулянка на уме, а по-ди ведь не на свои кровные. Сколько продавщиц уж в Раменье перебивало — никто с им ужиться не может. Хитрой, бес! Ой да чево я сижу-то, старая, надо в огородишко сходить, огурцы ошипать...

— Я сбегая, бабушка! — вскочила Нина. — Дай посудинку какую-нибудь.

— Да почто, Нинушка! Неужто я сама не управлюсь?

— Сидите, сидите, — удержала ее Люба. — Ванюшка засыпает, сейчас мы с Ниной и сходим.

— Ну-ко, я не спрошу, каково с Варварой-то побеседовала?

— Побеседовали... — Люба фыркнула от смеха. — Выговор получила.

— Она — таковская! Два всего и командира-то в Раменье: Кустов да Варвара.

Люба уложила спящего Ванюшку на кровать, взяла у Тюрихи оцинкованное ведро и обняла Нину за плечи:

— Пойдем?

Мимолетный разговор о Насте Осокиной взволновал Любу. Ее охватила острая жалость к низкорослой конопатой девчушке, но как помочь Нине, она не знала и потому молча выбирала спелые огурцы.

— Вы, Любовь Андреевна, ловко управляетесь, — похвалила Нина. — Будто и не горожанка.

— Я только наполовину горожанка, Нина. Жили мы на окраине, был свой домик и огород. Картошку садили, огурцы, помидоры, лук. Малина росла, смородина. Все, наверно, погибло теперь.

— Почему? — вздернула Нина белесые бровки.

— Мама моя умерла прошлым летом. Жили мы вдвоем. Ну похоронила я ее, осенью урожай собрала, а весной уж ничего и не садила — не до того было: Ванюшка родился да госэкзамены...

— А он... не помогал? — тихо спросила Нина и покраснела.

— Он и о ребенке не знает... Что ему огород!
— Так вы не замужем?
— Нет. — Люба выпрямилась, серьезно взглянула в лицо будущей ученицы. — Осуждаешь?
— Что вы! — смутилась Нина. — Я сама без отца выросла, да вот живу...
— Мама твоя давно в магазине работает?
— Два года скоро. Ой, Любовь Андреевна, не кончится это добром! — Нина заплакала.
— Что ты, что ты! — рванулась к ней Люба и прижала Нину к себе. — Рядом теперь будем, не пропадем!
Они взглянули друг на друга и одновременно улыбнулись.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мокрецов не находил себе места. Он выжимал предельную скорость из старенького колхозного мотоцикла, несясь ровной проселочной дорогой в Щепинскую, нервно ходил по деревне, отыскивая бригадира, ругался с ним из-за грязного молока, но тоже как-то наспех, потом решил побывать на выгоне, где паслось стадо.

Пробраться к лесному пастбищу на мотоцикле не удалось, и зоотехник оставил машину в придорожных кустах. Вязкой болотной тропинкой он пересек прибрежную луговину и по сухому берегу Ковровки двинулся вверх, разыскивая стадо.

Надоедливо жужжали мухи, река, казалось, уснула под полуденным солнцем. «Пойдет или не пойдет?» — гадал Николай, весь в тревоге, словно не за грибами в бор пригласил он Любу, а на тайное свидание, от которого зависела вся его дальнейшая жизнь.

Пастухов он увидел раньше, чем стадо. Пожилой Василий Плетнев возлежал на свободном от кустов проеме берега и подавал советы подпаску, молодому парнишке. Тот поминутно закидывал в воду малька, прицепленного на крючок, и, подергивая, вел его на длинном удилище к берегу. Малек то скрывался под водой, то выпрыгивал наверх среди листьев кувшинок. Мокрецов открыл было рот, чтобы отчитать пастухов за безделье, но тут удилище в руках паренька дрогнуло, он подсек и выбросил на берег полукилограммовую щучку.

— Вишь! — сказал Василий. — Я те говорю — подергивай!

Он оглянулся и, увидев Мокрецова, встал, заметно смущенный.

— Рыбкой балуетесь? — хотел строго спросить Николай, но помимо воли широко улыбнулся, блеснув зубами. — А стадо где?

— Дак в лесу, где ему быть-то. Кормится...

— Накормите, пожалуй, на берегу лежа, — Мокрецову удалось все-таки сурово сдвинуть брови.

— А только что поили...

— Молоко за пятидневку опять сбавили. Да и сдаете половину вторым сортом, — сказал зоотехник почти весело. — По болоту, что ль, гоняете, коли все стадо в грязи?

— Пошто по болоту? Доярки ленятся, вымя худо подмывают, опять же остужать негде, а возят не враз, вот и портится молоко-то.

— У тебя, Плетнев, на все отговорки. Больных животных нет?

— Да вроде нет...

— Ищите, ищите хорошую траву, рыбаки! — приказал Мокрецов и неожиданно для себя рассмеялся.

— Все добро будет, Михалыч, все ладом! — засмеялся и Василий, подавая на прощанье руку.

«Да что такое со мной? — недоумевал Николай, возвращаясь с пастбища. По извилистой тропе он въехал в глубину бора, заглушил мотоцикл, бросился ничком на белый, хрустящий мох. — Влюбился! Как мальчишка, влюбился с первого взгляда, как семиклассник!» — корил он себя, но и укоры были какие-то веселые, и сердце билось радостно, тревожно и нетерпеливо — так бывает, когда томишься у дверей перед трудным экзаменом, но в чем-то и по-другому.

Снова и снова возникла в памяти стройная фигура Любы, ее плавная походка, нежное лицо и глаза, особенно глаза — большие, синие, до краев налитые добротой, лаской и еще какой-то непонятной для него мудростью, а оттого еще более загадочные и близкие.

«Милая... Добрая... Солнышко мое... Как небо синее ты, как облако летучее, недоступное... — Он перевернулся на спину, закинул руки за голову — Вот и до стихов дошло! Погиб ты, брат Ромео! Люба-Любушка... Любушка...»

Ухватив руками хрустящий мох, Николай рванулся, сел. Сейчас, в начале августа, птицы уже почти не пели, долгая нерушимая тишина устоялась в бору. Лениво кружились редкие комары. Солнце путалось в густых сосновых шапках. Сильно пахло смолой, воздух становился осязаемо густым, плотным.

«А ведь гроза грянет! — с испугом сообразил Николай. — Только бы не затяжная! Господи! Только бы не затяжная, не на весь вечер!»

Он торопливо выбрался на тропинку, оседлал выдавший виды мотоцикл и рванул вперед, подпрыгивая на корнях, узловато оплетавших тропинку. Выехав на проселочную дорогу, он снова газанул, оставляя за собой невысокий, но плотный шлейф пыли. Когда бор расступился, распахнув широкий простор перед Раменьем, стало видно, что по краям небосклона закипают лиловые облака, предвестники обложной грозы.

«Так и есть! — в отчаянии подумал Мокрецов. — Все пропало!»

Часы показывали половину третьего, но в контору ехать совсем не хотелось, и Николай направился домой перекусить. Там и застала его гроза, обвалом рухнувшая на землю.

Остаток рабочего дня Николай провел в конторе, оформляя бумаги, но все валилось из рук, и он едва дождался времени, когда можно было уйти, не вызывая подозрений. Тщательно обтерев сапоги у вымытого ливнем крыльца Тюрехи, он постучался и вошел в комнату. Сидя с ребенком у окна, бабка недружелюбно покосилась на Николая, не ответила на приветствие. Люба стирала пеленки в тазу у печки. Она выпрямилась, поправила волосы тыльной стороной мыльной руки, приветливо кивнула:

— Садись, Коля.

— Я за вами, Люба, как договаривались.

— О чем договаривались?

— За грибами...

— А-а... — вспомнила Люба и отчего-то смутилась. — Знаете, я стиркой занялась, не хочется бросать.

— Какие грибы после экой страсти! — возразила Тюреха. — И в лес-от не сунесся, нараз выполощет!

— Давайте как-нибудь в другой раз, — твердо и, как показалось Мокрецову, неприязненно сказала учительница.

Будь на ее месте кто-то другой, Николай, наверное, не ушел бы вот так, сразу, посидел бы на низенькой скамейке, разговорился. Но сейчас он, словно школьник, повернулся, торопливо бросил: «До свидания!» и прикрыл за собой дверь, не заметив, что Люба посмотрела ему вслед с недоумением и веселым любопытством. Не до того ему было, он весь горел от стыда и разочарования.

«Приплелся!.. — насмешливо корил он себя, лежа на узкой железной кровати в своей комнате. — Нужен ты ей, как вчерашняя погода. Возмечтал! Да она после того подлеца нашего брата вообще ненавидит. А ты сразу: «Не угодно ли, мадам, прогуляться по вечернему бору!» Как же, сына бросит и побежит за тобой, делать ей больше нечего! Слова сказать не умеешь, а туда же... Дон Жуан по-раменски!»

На другой день, в субботу, Кустов собрал механизаторов, бригадиров, чтобы дать последние наставления перед жатвой. Мокрецов тоже переговорил с бригадиром о неотложных делах на фермах, побывал на пункте искусственного осеменения и на отдаленной Митинской ферме, но рабочая суeta не захватывала, не увлекала, как прежде, — где-то внутри залегла горечь и тоска, словно вколотили в живое место ржавый гвоздь, боль от которого хоть и не валит с ног, но ни на минуту не дает забыть о себе. Вечером он снова забрался в свою комнатенку, как в нору, рухнул на кровать, уверенный, что никакая сила не поднимет его сегодня.

За окнами апельсиново горел закат, когда в дверь постучали негромко, но твердо.

— Кто там? — недовольно спросил Мокрецов.

— Дома, Михалыч? — дверь отворилась, пропустив Чапая.

— Чего тебе?

— На ферму бабы требуют. Забыл, что ли?

— Пошел к черту! Без меня обойдутся.

— Дело-то, Михалыч, не терпит. Решился ведь я. Женюсь!

— Ну и женись. Хоть на бабке Тюрихе.

— Несподручно мне без тебя. Это одно, а второе то, что учителку новую видел.

— Ну? — Мокрецов повернулся к Вальке.

— Дак чего, капусту поливает в огороде, а сама скучная, видно, надоела эта забава. Вот я и подумал...

— Чего ты подумал? — угрожающе спросил зоотехник, поднимая голову и подозрительно глядя на Чапая.

— То самое и подумал. Пригласил бы ты ее на бабий-то праздник. Интересно, поди, городской на деревенскую гулянку поглядеть. Бабы стол из красного уголка на лужок выволокли, собирают закуску всякую, а меня за гармоньей да за тобой турнули. Дак как?

— А тут что-то есть... — раздумчиво сказал Мокрецов. — Какое-то рациональное зерно...

— Какое, к лешему, зерно, тут верных полпуда! А второе то, что ты уж пособи мне Анюту уговорить. Ежели ты меня сегодня, Михалыч, не выручишь — хана. Сопьюсь али в Мурманск уеду.

— Задал ты мне задачку! За один вечер двух девок уговорить, что я — поп, что ли? — повеселев, пошутил Мокрецов.

— Ты ее особо-то не уговаривай. Ты скажи, ну там, пить, мол, бросит, парень, дескать, хороший. Тут и я подкачусь с какого ни-то боку.

— Слушай, а чего это твоя Анютка на ферме придумала день рождения отмечать? Дома ей места мало? Для нее Кустов и клуба не пожалеет.

— Отмечать-то она после станет. Сейчас так просто, сабантуйчик. Знаешь ведь ее: чего в голову взбрет, тому и быть.

— Похоже, на сей раз ты ей в голову взбрел, из-за тебя, братец, этот сабантуйчик. Ладно, будь что будет!

— Дак давно бы так, потому как это одно...

— Знаю, знаю: а второе — то!

Они направились к Валькиному дому, в котором механик жил с престарелой матерью, прихватили гармонь и, повернув в проулок, подошли к домику бабки Тюрихи.

— Ты постой тут, — изменившимся голосом попросил Мокрецов. — Я сам поговорю.

Он неслышно приблизился к ветхому огородику и несколько минут молча наблюдал, как Люба методично и бережно льет воду из оцинкованного ведра под каждый кочан капусты. Не осмеливаясь окликнуть ее, негромко кашлянул и, когда, обернувшись, она улыбнулась приветливо, спросил:

— Можно вас на минутку, Люба?

— Можно, — она подошла и протянула влажную от воды руку.

— А я снова за вами. Сегодня праздник у раменских доярок. Не хотите посмотреть? Прямо на ферме.

— Удобно ли?

— Конечно, удобно! Свои люди, рады только будут!

— А что? Возьму и пойду, если бабушка отпустит!

Она беззаботно, по-девчоночьи рассмеялась и, схватив ведро, широким веером выплеснула остатки воды на грядку, непринужденно взбежала на крыльцо.

Мокрецов оторопел. Да какая она учительница! Любка, девчонка!

— А и сходи, Любушка, сходи! Чего тебе со старухой-то впотьмах сидеть. Насидишься, даст бог. Поди, милая, — раздался через открытое окно напевный голос бабки Тюрихи. — Мы вот с Ваней спать уложимся, эдак-то славно! Ворота я не запираю, дак не торопись. С барбосом-то тихонько только, всем им, дьяволам, одно надо.

Николай поежился.

— Что, Ванюша, что, умник, мамка пошла? А мы мамке ручкой помашем: вот эдак, вот эдак! Ой, хохочет, сердешное! Весело с бабушкой-то? Вот и слава богу.

Люба появилась на крыльце, стройная, в темном открытом платье, которое подчеркивало белизну лица и волос. Николай, робея, взял ее под руку.

Еще не доходя до фермы, услышали женские голоса. Доярки только встретили заглянувшего «на огонек» Кустова и теперь наперебой угощали его.

— Да что ты, Анюта, как репей! — отбивался председатель, — дай хоть передохнуть. Ты вон кого угощай: вишь, гости пришли, как стекляшечки.

Все обернулись в их сторону, стало тихо, лишь кто-то приглушенным голосом сказал:

— Батюшки, Коля-то!

Встретили их приветливо. Люба, не успев опомниться, очутилась за широким столом, покрытым красным сатином.

— За новорожденную! — гаркнул Кустов. — Пусть так коров доит, чтобы звездочка на грудь залетела!

Все встали, чокнулись, смеясь и переговариваясь. Только виновница торжества вдруг помрачнела. Бросив встревоженный взгляд сперва на механика, потом на учительницу, она лихо осушила стакан и поставила его на стол, стукнув доньшком.

Кустов наклонился к Клавдии Костровой:

— Чего она задуррила?

— Вальку Чапая, знать, ревнует. Жить друг без дружки не могут, а и сойтись толку нет.

— Понятно, — многозначительно сказал председатель.

Через полчаса тихую полянку у фермы заполнили звонкие переборы гармошки. Валька, склонив голову набок, с чувством «отрывал» русского.

Первой вызвалась плясать Анюта. Притопнула перед гармонистом.

Голубые глазки злые,
Карие — лукавые.
У мово любого серые,
Любые самые! —

завела она для начала, а потом посыпала частушки, как горох из рукава:

Я иду, и разливается
Вода зеленая.
По неделе дроля сердится,
А будь веселая!

Я жалею дролечку,
Его поговорочку:
Поговорочка его
Лежит у сердца моего.

Ягодиночку жалела —
Не было терпеньица.
Досадил словечка два —
Убавила жаленьица!

— Ах, как хорошо! — сказала Люба, возбужденно блестя глазами. — Ведь она всю любовь свою сейчас пропела, всю душу выложила и — какими словами! Да она же талант, эта Анюта!

Николай лишь согласно кивал, не отводя глаз от оживленного, милого лица соседки. Видя, что Люба так и не пригубила налитый ей стакан, он тоже отодвинул свой в сторону.

Анюта пропела последнюю частушку:

Ты играй повеселее,
Это я заставила.
Знаю я, кого любила,
А кого оставила.

Только теперь Мокрецов вспомнил, что обещал Валентину поговорить с ней, и стал подниматься из-за

стола, но его опередил Кустов. Он вразвалку, по-медвежьи подошел к плясунье, полуобнял ее за плечи, подвел к гармонисту.

— Ну спасибо, потешили! А знаете что, ребятки? Берите-ка вы завтра мою машину, да дуйте прямиком в загс! Лучше дело-то будет, верно?

Анюта вырвалась и убежала в темноту, к коровнику. Валентин с досадой бросил гармонь. Застолье зашумело, выручая сконфуженного председателя. Оно уже изрядно пополнилось раменскими мужиками, налетевшими невесть откуда. В гулянке начался тот хмельной разброд, когда можно прийти и уйти незамеченным.

Николай, наклонившись к учительнице, вдруг прошептал:

— Не больно красиво сватовство у Кустова получилось, а только я все бы на свете отдал, если бы он нас вот так в загс отправил...

— Вас? — не поняла она. — С кем?

— С вами.

— Ох, Коля! Ой, умру! Вы что, такой влюбчивый, да? — засмеялась она. — А вдруг я возьму и соглашусь? Жалеть завтра будете!

— Да ни за что на свете! Люба, Любушка...

— Пойдемте-ка лучше по домам. Проводите?

— Конечно! Люба, а давайте на «ты» перейдем. Говорят, это можно, если за одним столом посидишь...

— Ну что ж, — согласилась она. — И какие первые слова ты мне скажешь на «ты»?

— Ты, Любушка, самая удивительная из всех, кого я встречал.

— Опять? По домам! — шутливо скомандовала она.

Николай встал. Дорогой Люба молчала, и он растерянно чувствовал, как тает, улетучивается минутная близость, как неуловимо Люба вновь превращается в Любовь Андреевну. Он шумно вздохнул, безнадежно поднял глаза на яркие августовские звезды. Неожиданно Люба рассмеялась коротким грудным смехом:

— Какой ты, Коля, оказывается, еще мальчик!

Поняв эти слова по-своему, Мокрецов круто повернулся, схватил ее за талию, крепко прижал к себе. Напрягшись, она выскользнула из его объятий.

— А шалить-то, Коля, не надо! Спасибо за вечер. Пока!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

И снова Николаю пришлось провести бессонную ночь. Лицо Любы неотступно стояло перед ним, руки помнили ее гибкое, сильное тело. Как странно блеснули ее глаза на прощанье! Обиделась? Ясно, обиделась. Еще бы: обниматься полез ни с того ни с сего... Дурак. Идиот. Все теперь пропало...

Стремясь хоть как-то заглушить неотступную тоску, Мокрецов перед утром подался с удочкой на Ковровку. Рыба клевала хорошо, но удача на сей раз не радовала Николая — душа его рвалась к маленькому домику Тюрихи, который теперь стал для него самым главным в Раменье.

Он засиделся на реке долго. Уже прогнали стадо и обсохла роса, когда он, наконец, смотал удочки. Отдав улов хозяйке, Мокрецов разделся и уснул тяжелым сном.

Проснувшись, он вспомнил, что сегодня его приглашал к себе председатель. Идти не хотелось, и Николай пожалел, что дал слово Кустову. Куда лучше было бы еще раз попытаться уговорить Любу прогуляться хоть до Ковровки, чем слушать нудные наставления председателя.

«Не ходить разве? — размышлял он. — Нет, зайти надо, обидится». Долго рылся в шкафу и разыскивал прожженное байковое одеяло, наконец нашел, постелил его на стол и, включив утюг и намочив под умывальником полотенце, стал гладить выходные брюки.

Подчинившись внезапному побуждению пройти мимо окон учительницы, Николай торопливо оделся и почти выбежал из дома. Избенка бабки Тюрихи словно подросла, помолодела и стала видна со всех концов деревни. Он медленно прошел мимо, но за окнами не угадывалось никакого движения. Мокрецов вздохнул и свернул на главную улицу, где неподалеку от колхозной конторы жил председатель.

У Кустова было тихо и пусто, лишь Томка на диване увлеченно читала книгу. Она сидела, небрежно подобрав под себя ноги, и не обратила внимания на легкий стук двери.

— Привет, разбойница!

Томка вздрогнула, торопливо вскочила с дивана, густо покраснела.

— Не красней, не сватать пришел. Отец дома?

— Отдыхает на сеновале. Счас позову!

Она опрометью бросилась к двери. Мокрецов, несколько обескураженный тем, что его, оказывается, вовсе не ждали, присел на один из разномастных председательских стульев. Он не раз бывал здесь и раньше, но просто так, без всякого дела, зашел впервые и потому с интересом оглядел комнату. Председатель жил небогато, неброско. Все необходимое было на месте, но телевизор — старенький «Рекорд», стол — похоже, дело рук колхозного плотника Антипа, шкаф — в пятнах и царапинах. Лишь домотканые половики, подобранные со вкусом шторы на окнах и громадный ковер на одной из стен скрашивали жилье.

На пороге появилась грузная фигура Кустова.

— Пришел, зоотехник? Ладно! Тамарка! Пошарь-ка там в холодильнике закусить. Петровну-то я в район отправил, с зубами все мается баба.

Председатель ногой придвинул стул к столу, сел, потер голову ладонями.

— Что это за краля вчера с тобой была?

— Учительница новенькая, — неохотно ответил Николай. — Подвез ее на днях из райцентра.

— Подвез да сразу и подъехал? Правильно. Молодость — она на один раз выдана.

Влетела запыхавшаяся Томка, начала накрывать на стол. Кустов, скрипнув стулом, со смаком потянулся:

— Вроде немного и полежал, а начисто разморило. Только в воскресенье к вечеру косточки-то и расправишь, а то все как заведенный с пяти утра до поздней ночи. Слушай, пока не забыл: слетай-ка ты как-нибудь в Федотовскую, разберись с этим путаником Барабашкиным. Такие привесы, сукин сын, в отчете указал, что хоть стой хоть падай. Я уж по телефону с него стружку снимал. Шутка сказать, по два килограмма привеса в сутки на теленка приходится. Тебя, говорю, за такие привесы надо с ходу либо министром делать, либо к прокуратуре отправлять.

— Съездить можно, — согласился Мокрецов.

Кустов достал из шкафа стопки, жестом пригласил к столу. Томка тем временем снова устроилась на диване, украдкой поглядывала на зоотехника.

— А ты чего все помалкиваешь, Коля? Вроде как обижаешься или что? — мягко спросил председатель, за-

кусив свежепросольным рыжилом, и Мокрецов уловил мгновенную перемену в его облике: Кустов подтянулся, глаза из ленивых и сонных стали умными, цепкими. «Теперь держи ухо востро!» — пронеслось в голове.

— Нет, что вы, Владимир Анатольевич! Просто обидно иногда делается, что не доверяете мне. Тот же отчет взять. Ну, соврали, так хоть знать, по какой такой причине. Может, и в самом деле, есть смысл соврать? Или нету?

— Ежели бы, Коля, смысла не было, я бы врать тебя не заставил. Помни одно: Кустов для колхоза худого не надумает.

— Но почему нельзя открыто, честно?

— Честно? — Кустов помолчал. — Бывает, брат, что честность в нашем деле та самая простота, которая хуже воровства. По мне честность тогда хороша, когда от нее людям польза. Я, ежели хочешь знать, для людской пользы самым распоследним подлецом стану, только бы не зря.

— Выходит, все средства хороши?

— Ничего не выходит. Конечно, не худо бы из средств самые честные, как ты говоришь, выбирать. Ну а коли их иной раз нету, честных-то? Ты думаешь, Кустову мараться приятно? Да я, Коля, не меньше твоего всякие «ты мне — я тебе» ненавижу. А вот отбухал два десятка годов на председательском стуле и понял, что нечего тут делать в белых перчатках. Вот, кстати, тебе задачка для второго класса: ну-ка реши. Надо тебе, к примеру, в деревне водопровод проложить. За пять лет ты проектную документацию выбил, изыскания провел. Куда там, подрядчика нашел! Он, подрядчик-то, за милую душу да за колхозные денежки и траншеи тебе выроет, и колонки поставит, и всякое там оборудование на место приспособит — живи, радуйся, чай пей. Всего-навсего одно условие поставит. Маленькое условие: оборудование и трубы — заказчика. Вот и думай, где возьмешь?

— В «Сельхозтехнике».

Кустов расхохотался.

— Ну, хватил! Да у них и для фермских комплексов труб не хватает! Заявку в область они, само собой, дать могут. Вставишь ты копию этой заявки в рамочку, повесишь на стенку — и любуйся до самой пенсии.

— В министерство можно написать.

— Смотри в какое. Вон Чижииков из «Волны» написал. Попросил, чтобы два типовых дома сборные со всеми удобствами выделили. Для специалистов. И что ты думаешь? Выделили! Просто? Просто, да не больно. Заявку-то Чижииков написал со-овсем в другое министерство, да и то потому, что там замом министра человек из ихней деревни родом. Вот так-то... — Кустов задумался на минуту, потом снова пристально уставился в лицо зоотехнику. — Давай, давай, решай задачку.

— Райком поможет.

— Был я там. С первым не раз, не два толковали. Ответ один: жди. Нету труб.

— Ну, тогда не знаю, — сдался Мокрецов.

— То-то и есть, что не знаешь. Когда припечет до печенок, забудешь про всякую разную шепетильность. А задачка-то проще пареной репы. Приехал я в область, в строительный трест, к шефам нашим. Нашел знакомого мужичка из отдела снабжения, он мне все дело и обьяпал. Честно ли, не честно, а позавчера телеграмму получил: «Разгружайте вагон с оборудованием». Вот и радуюсь: будет, потаскали воду из Ковровки, поклонялись ей, пусть она теперь нам поклонится, сама в гору потечет.

— Чем так, — брезгливо сказал Николай, — лучше совсем не надо. Жили и без водопровода.

— Верно, жили, — колюче возразил председатель. — Не только без водопровода. Без воды на фермах жили, без транспортеров, вручную доили. После войны чуть не без штанов жили. А теперь не хотим. И заруби себе на носу, зоотехник: я надвое переломлюсь, а бабы наши с ведрами под угор ходить не будут! Доверь таким, чистеньким, хозяйство, весь век у разбитого корыта просидишь, в щелки прозаглядываешь. Голый, зато чистенький!

— Зря ты, папка, горячишься! — вступилась вдруг за Мокрецова Томка. — Правду Николай Михайлович говорит. Честность-то, может, самого большого богатства дороже. А то на словах одно, а на деле другое.

— Да ну вас! — благодушно, как показалось Николаю, махнул рукой Кустов. — Мало соплей на кулак помотали, вот и выпендриваетесь. Так говоришь, жениться надумал?

— Откуда вы взяли? — растерянно сказал Мокрецов.

— А что, женись! Дадим вам квартиру в том доме,

что для специалистов достраиваем. На одного-то тебя так я не больно надеюсь. Вроде ты на сторону от нас поглядывать начал. И керосинить, слышно, привыкаешь, а это уж вовсе ни к чему. В руки тебя, парень, брать надо! Не обижайся, правду говорю. А ты, стрекоза, чего уши наострила? Все бы ей мужицкие разговоры слушать! На улице вон благодать, сходи проветрись.

Томка нехотя сползла с дивана, понуро направилась к двери.

— Удивляешься, поди, чего я тебя ни с того ни с сего в гости позвал? — помолчав немного после ухода дочери, спросил Кустов. — Верно, не случайно, не бутылку с тобой распить. Понять вот хочу, повезешь ли со мной один воз? Али другую пристяжку подыскивать надо?

Николай задумался. Он и сам не раз задавал себе подобный вопрос. В Раменье стало надоедать. Развернуться с комплексом, как он мечтал поначалу, не дает тот же Кустов. А быть у него на побегушках — какой смысл? Колхоз, конечно, сильный, заработки приличные, но представить только: всю жизнь вот так, белкой в колесе, без перспективы, без внутреннего удовлетворения...

Еще неделю назад Мокрецов, наверно, заявил бы, что уедет в более крупное хозяйство, но теперь обстоятельства круто переменились. Уехать теперь от Любы было невысказано. Да ведь он теперь как привязанный! Если бы с ней вместе уехать, другой разговор. Но одному? Нет, ни за что! Впрочем, ведь и Кустов — сам Кустов! — явно ищет перемены отношений. Сегодняшний вечер льстил самолюбию, давал надежду, что и на работе все обзавестся.

— Если не будет от меня тайн, Владимир Анатольевич, — запинаясь, выдавил Мокрецов.

— Да какие там тайны! — хохотнул председатель. — Все про сводку толкуешь? Дело-то пустячное. Кормов на будущую зиму сколько заготовили? Знаешь. Обязательство по молоку на пятилетку тоже знаешь. Вытянем на этих кормах? Вряд ли. Так что неучтенные телки нам пригодятся. Да и за водопровод расплачиваться придется не только по безналичному. А наличные где возьмешь? Незаконно, скажешь? А волков бояться... Словом, — жестко заключил Кустов, — одно из двух: либо ты веришь, что я колхозу добра хочу и во всем меня поддерживаешь, либо нет. Куражиться намерен — сам ухо-

ди, по собственному. Зоотехника в «Зарю Севера» сы-
щем.

— Останусь... — после некоторого колебания сказал
Мокрецов.

— Вот это другой разговор! Я давно понял, что па-
рень ты смирный, а ершишься от одной неустроенности,
от холостяцкой, кстати. Ну давай за мир между наро-
дами!

Выпив рюмку, Кустов долго, с затаенной где-то в
глубине глаз усмешкой смотрел на зоотехника. Смуща-
ясь под его пристальным взглядом, Мокрецов промямлил:

— Отпуск бы мне надо, Владимир Анатольевич.

— Рановато.

— Одиннадцать месяцев прошло...

— А ведь и правда, прошло. Время-то бежит! Что ж,
против законодательства не попрешь. Оформляйся! По-
едешь куда?

— Дома хочу побывать.

— Заметано.

Он ушел от председателя в сумерках.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Люба с первых дней и всем сердцем приняла простую обстановку бабкиной избушки, нехитрый распорядок дневных забот и саму Тюриху, так что скоро стала считать ее как бы своей близкой родней, к которой просто не смогла, не сумела приехать раньше. И относиться к бабке она стала по-родственному — это сказывалось не только в заботах ее о старушке, но и в той дочерней легкости, с которой просила Тюриху остаться на день или на вечер с сыном.

Сама Тюриха с приездом Любушки — так она ее называла — словно помолодела. Глаза ее теперь постоянно лучились ровной радостью, желанием сделать приятное неожиданной своей «доченьке» и «внучку». Так же, как Люба считала само собой разумеющимися крупные и мелкие бабкины одолжения, так и Тюриха утвердила за собой как бы родственное право на незлобивое ворчание по поводу некоторых промахов Любушки, и это право было признано за ней безоговорочно.

По утрам, если не было дождя, Люба торопливо накидывала халатик и с полотенцем в руках легко бежала

огородами к речке, которая весело высвечивалась навстречу синим небом и лохматыми подушками облаков. Вот и сегодня она старательно умылась, радуясь тишине, покою, сознанию, что жизнь наконец-то устраивается, и, вернувшись домой, занялась уборкой.

Не успела она подмести в комнате, простирнуть пеленки, как прибежала Нина Осокина, отняла у Тюрихи Ванюшку.

— Любовь Андреевна, мы с ним на улице посидим!

— Посиди, если хочешь. Только ведь ты опять не выпалась после дойки. Смотри, недосыпание очень вредно!

— А я сегодня на ферму не ходила. Гулена-то наша приехала, вчера еще с вечерней дойки меня турнула. Так что я — в отпуске! Ванечка, крошечка, разбойничек маленький! Вынесем мы тебя на солнышко!

Управившись с делами, Люба спросила Тюриху:

— Чем, бабушка, займемся сегодня?

— Да чем, девка, тебе заниматься? Отдыхай, знай. На реку бы сходила али в лес...

— Опять тебе Ванюшку подкидывать? Может, тебе самой куда-нибудь надо?

— Надо бы дров пошаркать, насбирала маленько по деревне, да ить не к спеху, испилятся, однако.

— А говоришь, делать нечего. Мы с Ниной и попилим. Это те, что за двором лежат?

— Оне, оне.

— А пила где?

— В сенцах, ужо я найду. Зря выдумала-то, не к спеху!

— Ничего, ничего!

За двором бабкиного дома, где стояли старенькие расшатанные козла, лежала куча разномастных палок, кольев, досок и горбылей, которые Тюриха все лето собирала по деревне. Пилить их было легко, дело подавалось споро, однако Нина поминутно хмурилась, и учительнице вдруг показалось, что девочка взялась за работу лишь из ложно понятого долга.

— Устала, Нина? Давай закончим, сходи, погуляй. Ванюшку уложу, так допилим с бабушкой.

— Что вы, Любовь Андреевна! Какая это работа! Да я бы до полночи стала пилить, лишь бы домой не ходить... — вырвалось у нее с горечью.

— А что случилось? Опять?

Нина закрыла лицо руками, присела на дрова, всхлипнула:

— Вчера этот гусь к нам приперся с бутылкой...

— Кто?

— Да Сакин! Убежала я в клуб, а потом на Ковровку. Стыд-то какой! Раньше хоть в сельпо пили, а тут...

— Успокойся, Нинушка, не плачь. Что, если мне поговорить с твоей матерью?

— Толку не будет, — покачала головой Нина. — Я как только с ней не говорила. Уехать мне надо, наверно, Любовь Андреевна! Пораньше бы сообразить, сейчас бы уж в техникум поступила...

— Ты не убивайся так. Давно она пьет?

— Второй год. Как стала продавцом работать, так и началось. Раньше-то жили — не тужили, а теперь вот чаще да чаще. Хватит, давайте пилить! — Нина решительно вытерла слезы и бросила на козлы сухую жердинку.

Под мерное пенье пилы Люба прикидывала, как помочь девочке. Она права: если идти к Насте Осокиной самой, толку будет мало. Продащица просто слушать не станет, тем более что раменские учителя, а может, и сама Воронина с ней наверняка беседовали. Зайти к Ворониной посоветоваться? Интересно, на какие деньги пьет Настя? Зарплата невелика...

— Труд на пользу! — совсем рядом раздался веселый голос.

Люба вздрогнула, выпрямилась. Широко улыбаясь, перед ней стоял Мокрецов. Учительница ответно улыбнулась, протянула зоотехнику руку и внезапно поймала себя на мысли, что обрадовалась его приходу.

— Никак дорогу перепутал? — пошутила она. — На ферму во-он где ходят!

— Не угадала. Со вчерашнего вечера я — вольный казак. В отпуске.

— Правда? Везет мне сегодня на отпускников. Что, Нина, заставим отпускника поработать?

— Какой разговор! Дровишки-то эти? Делать нечего! А ну, посторонись, доярочка!

Нина уступила свой конец пилы зоотехнику, отошла, грустно улыбаясь.

— Поехали? — Николай резко потянул пилу.

— Ой, потише! Я к такому темпу не привыкла.

— Смелей! Работать — так работать!

— Я пойду, Любовь Андреевна, — сказала Нина, стряхивая опилки с платья.

— Конечно, Нина, иди, отдыхай.

— До свиданья, — церемонно вымолвила девочка и скрылась за углом.

«Надо все же сходить к Насте. Будь что будет!» — снова подумала Люба, а вслух спросила:

— Куда же в отпуск отправишься, Коля?

— А никуда! В Раменье лучше, чем на курорте. Тишина, простор, воля! Домой заскочу на пару дней, и хватит с меня.

— Какой же это отпуск! Надо хоть время от времени менять обстановку.

— С тех пор как я тебя привез, обстановка в Раменье в корне изменилась, — полушутя, полусерьезно сказал Николай и так глубоко заглянул ей в глаза, что Люба смутилась и тут же рассердилась на себя за это невольное смущение.

— В самом деле? Коровы стали больше молока давать? — съязвила она.

— А как же! Когда у зоотехника настроение праздничное, коровы сразу чувствуют! — отшутился Мокрецов, но в лице его что-то неуловимо переменилось, проступила растерянность.

Это тотчас заметила Люба и пожалела, что сказала колкость. Чтобы как-то загладить ее, пошутила:

— Кто-то, помнится, грозился мне раменский бор показать. Грибов, говорил, видимо-невидимо!

— На любой вкус! — воспрянул Николай. — Ты что больше любишь: белые или рыжики?

— И то, и другое, — засмеялась она.

— Заметано! — он положил на козлы последний горбыль. — Переодевайся, бери у бабки две корзины и — двигаем!

Тюриха отпустила ее в лес неохотно, поворчала:

— С барбосом-то пошто? Нинку бы взяла, да и шли за рыжиками.

— Что особенного? Не съест он меня!

— Ну, как знаете...

— Полно, бабуля! — Люба чмокнула ее в морщинистую щеку, стала переодеваться.

Натянула было старенькое домашнее платье, но посмотрев в зеркало, переменила его на юбку и свитер.

Лаковые резиновые сапожки и цветной шелковый платочек довершили наряд.

Ванюшка, разметавшись, безмятежно спал на кровати. На нежной коже лба выступили мелкие бисеринки пота. Осторожно осушив лоб сына платком, Люба укрыла его, поставила бутылку с молоком в печурку. Уже несколько дней она прикармливала Ванюшку коровьим молоком: надо было отучить его от груди до сентября — с уроков кормить не убежишь.

Мокрецов нетерпеливо переминался перед бабкиным крыльцом. То, что Люба согласилась, нет, не просто согласилась — сама предложила сходить за грибами, обрадовало его чрезвычайно. Значит, не сердится за ту глупую выходку возле фермы, когда он попытался обнять ее. После того случая он вообще не показывался на глаза учительнице несколько дней, хотя она неотступно была с ним все это время.

«Какая она вся... удивительная! — размягченно думал Николай. — Чуткая, умная, добрая. И глаза, ах какие глаза, что омут синий! Утонуть можно, на край света пойти за такими глазами. Эх, если бы сладилась у нас жизнь, ничего бы на свете больше не надо! Только что я для нее? Так, забава, пока знакомых не завела. А вдруг еще того любит, первого? — сердце тревожно забилося. — Не отступлюсь и не уступлю! Все сделаю, чтобы вышла она за меня. А иначе...»

Когда Люба появилась на крыльце в своем новом наряде, Николай внутренне ахнул: так она была привлекательна. Свитер туго обтягивал грудь и подчеркивал стройность фигуры, делая молодую учительницу в одно и то же время и строже и чем-то ближе, доступнее. Николай ощутил горячее желание схватить ее на руки и унести... за тридевять земель.

Люба тотчас уловила произведенное ею впечатление, и это было приятно, щекотало самолюбие, как бы приподнимало ее над обыденным, придавало знойному августовскому полдню особое очарование и прелесть. Она весело взглянула на Мокрецова и протянула ему корзинку.

— В путь?

— Ага! — счастливо рассмеявшись, перевел дух Николай. — Сейчас берегом, а там через мост и — в бор...

По борозде меж грядок пересекли огород бабки Тю-

рихи, выбрались на берег Ковровки как раз в том месте, где Люба умывалась утром.

— Вторую неделю в Раменье, а все еще ни с учителями, ни с ребятами не познакомилась, — посетовала она. — Одна Нина Осокина забегает поведать.

— Учителя все в разъезде. Зина-историчка, — два года отработала, — в Болгарию укатила. Иностранка наша туризмом занимается, на Кавказе сейчас. Физик Анатолий Иванович с женой — она географию преподает — дома, в городе, — сообщил Мокрецов. — И остались, считай, Воронина да химик Кудряшов, старичок. А ученики? Девятиклассников раменских ты уже повидала: Томку Кустову и Веру Морозову в машине подвозили, Куликов с ними был. Нину знаешь...

— Как я с ними со всеми справляться буду, ума не приложу. Иной раз такой страх возьмет...

— Ребята, конечно, есть разные. Тот же Петька, сын предсельпо... Знаешь, как его прозвали? Гангстером! Этот крови попортит. Да и Томка Кустова — не подарок. Я обратил внимание, она еще в машине к тебе все цеплялась: что ни слово, то шпилька...

— По-моему, она к тебе равнодушна, вот и цеплялась...

— Полно! Скажешь, влюблена? — рассмеялся Мокрецов.

— Может, и влюблена.

— Да что она в любви-то понимает, соплюшка!

— Зачем же в ней что-то понимать? Ее просто чувствовать надо. А чувствовать никому не заказано. Помнишь: «Люби все возрасты покорны...»

Николай не ответил, сделав вид, что выбирает дорогу в бору. Они уже пересекли мост, поднялись на взгорок, и рослый сосняк обступил их со всех сторон. Здесь было множество тропок, которые разбегались веером, и каждая в свою очередь то и дело раздваивалась. Видно было далеко, так как сосны стояли редко, а между ними низкорослый мох.

— Стой, что это? Рыжик! Точно, боровой рыжик! Рыжичек! Да какой крепкий, плотный! — обрадовалась Люба. — Ищи, ищи, Коля, здесь они еще должны быть.

— Живо наломаем! — заразился ее азартом Николай. — Будет у тебя, Любушка, соленье на зиму!

Через несколько часов они возвращались из леса с

полными корзинами. Возле огорода бабки Тюрихи Люба попросила Мокрецова:

— Не заходи к нам, Коля, не надо. Бабушке эти визиты не нравятся.

— Вот те раз! — огорчился Николай. — Где же мне с тобой встречаться?

— А зачем? Не надо нам встречаться. Ты в отпуске, поезжай домой, развеешься, все пройдет.

— Не веришь...

— Правда, уезжай!

— Я и сам собирался, позднее только. Ну, если ты настаиваешь... Завтра уеду.

— Вот и хорошо!

Мокрецов протянул ей корзину.

— Возьми. Мне грибы ни к чему.

— Спасибо, — она легонько погладила его по руке.

Вместе с Тюрихой Люба вычистила и засолила рыжики, повозилась с Ванюшкой, но на душе было тревожно. Мокрецов похож не на шутку влюблен, и надо решать, как вести себя с ним дальше: порвать раз и навсегда, прекратить всякие встречи или... «И мне ведь он нравится, что уж тут скрывать! — размышляла Люба. — Простой, открытый, сильный... Так что ж, опять сотворить глупость? Нет, ни за что! Хватит! О себе ли думать? Сын у меня... Школьный год на носу... Нина вон ходит как в воду опущенная... Может, побывать все-таки у Насти? А, была не была!»

И, не откладывая, она стала собираться.

— Я — в магазин, бабушка! — предупредила она Тюриху. — К школе посмотри кое-что.

Как всегда, в ягодную и грибную пору в магазине было малолюдно. Люба дождалась, пока он совсем опустеет, и подошла к продавщице.

— Настасья Петровна, можно вас спросить? — смущенно начала она.

— Можно, чего ж нельзя? — бойко, почти весело ответила Настя, полагая, что учительнице понадобилось что-нибудь из одежды.

— Дочь ваша, Нина, частенько к нам с бабушкой забегает. Вы знаете, мучается девочка...

— На родную мать жалуется? — недобро улыбаясь, спросила Настя.

— Да ведь нельзя же так! — вспыхнула Люба. — Подумайте, каково ей в глаза-то людям глядеть!

— Ты-то глядишь, не окривела! — зло оборвала Настя. — Учить меня явилась! Нет, голубушка, я хоть и пью-гуляю, а в подоле не принесла! Нинка у меня от законного мужа. Ишь, учительница! Все вы тихонькие с виду, а попадись мужик — сразу расстелетесь! Нечего ходить ко мне с попреками, на себя полюбуйся!

Задыхаясь от подступившего к горлу комка, Люба стремительно вылетела из магазина.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Она проплакала почти всю ночь, да и утром ходила как в воду опущенная.

— Занемогла, однако, Любушка? — всполошилась бабка. — Простыла, поди, в лесу-то. Ужо я малинки заварю, попьешь да и ложишься.

Люба не противилась. Выпив малинового отвара, она укачала сына и прилегла рядом с ним на кровать. Черные мысли не отступали. Самое страшное, что кинутые Настей в озлоблении слова в чем-то были и справедливы, хотя...

Она вспомнила похороны матери, те ужасные дни, когда осталась на свете одна-одинешенька. Тогда Люба словно погрузилась в стылую прорубь, весь мир казался ей странно отчужденным, пугающим. Равнодушие людей на улицах... Зловещее тиканье часов в безмолвии пустого дома... Утешения подруг, которые не в состоянии представить десятой доли ее тоски, ее боли...

На одном из семинаров — его вел любимец курса, молодой преподаватель Двойников — Люба, погруженная в себя, не ответила на обращенный к ней вопрос. Узнав в перерыве о несчастье студентки, которая поразила его большими синими, потемневшими от горя глазами, Дмитрий Павлович, словно случайно, встретил ее на дороге к дому, что уютился на тихой окраинной улочке города.

Вечер первых дней сентября выдался покойным и кротким. Где-то за домами садилось солнце. Для Любы все отливало свинцом: и небо, и асфальт, и в самом воздухе висела некая свинцовая тяжесть. Беспросветная тупая тоска давила ей грудь.

— Пойдите! — Дмитрий Павлович положил руку на плечо девушки. — Вы можете прогнать меня, но выслу-

шайте сначала. Вам трудно сейчас, но поймите, что горе нельзя носить в себе. К людям идите!..

Дмитрий Павлович проводил ее до крыльца, ласково говоря какие-то слова. Кажется, предлагал помощь. Помощь ей была нужна, и именно та, которую он уже принес сегодня и от которой — она предчувствовала это — кровоточащая рана затянется первым тонким рубцом.

В какой-нибудь месяц Дмитрий Павлович вдохнул в нее радость пробуждения к жизни. И Люба потянулась к нему, словно к теплему солнечному лучу. В ослеплении светлой и безоглядной любви она боготворила Дмитрия Павловича. Думать о нем, исступленно ласкать его в недолгие часы свиданий — лучше и чище ничего не могла она себе представить. И верилось, что так будет вечно. Верилось...

Он как кнутом хлестнул. Произнес шутливо, доброжелательно:

— От последствий, Любочка, подстраховаться не забудь. Спешить нам некуда...

Люба замерла. Она-то знала, что подстраховываться поздно. Знала и ждала момента, чтобы сказать ему, ждала, вся трепеща от предвкушения его радости. И вот дождалась... Много молчаливых ночных слез пролила она. Фраза, брошенная как бы невзначай, мимоходом, в перерыве между ласками, гвоздем засела в голове, и с каждым ударом сердца невидимый молоточек все глубже вбивал в мозг этот отвратительный ржавый гвоздь. «Не забудь подстраховаться!» — говорили ей лукавые взгляды подруг. «Не забудь подстраховаться», — подмигивали светофоры на улицах. «Не забыла?» — ехидно спрашивали витрины магазинов, в которых отражалось ее бледное осунувшееся лицо.

Люба крепче стискивала зубы и вся напрягалась, привыкая к выстраданному решению. Оно оформилось и стало бесповоротным, когда увидела на улице Дмитрия Павловича с женой.

Не объясняя ему ничего, Люба твердо сказала:

— Мы не будем больше встречаться.

Он искал встреч и после. Часто останавливался в укромных уголках института, приходил к ней домой, но каждый раз натякался на холодный взгляд ее глаз. Впрочем, не взгляд Любы, наверное, охладил его пыл, а то, что однажды его поразила заметно пополневший

стан студентки. С тех пор Дмитрий Павлович и сам избегал встреч.

Приехав в Раменье, Люба подспудно надеялась, что все останется в прошлом, забудется как для нее самой, так и для окружающих. Оказывается, не забывается ничего. Грехи свои, вольные они или невольные, надо нести до гроба. «Нести свой крест», — так вроде говорят. Ох, тяжел ее крест! Так надо ли добавлять к нему новый груз?!

Конечно, Мокрецов весь на виду. Но зачем обременять хорошего, доброго человека? Школа и ребенок — это все, что отныне остается ей в жизни. Да разве этого мало?

Она провалялась весь день, побледнела, осунулась. Наутро Тюриха, пошептавшись с Ниной Осокиной, сказала:

— Побегайте-ко, девки, на реку! Эвон, на улице-то сколь добро. Прокалишься, Любушка, на солнышке — хворь-то и отстанет.

— Правда, Любовь Андреевна! — поддержала бабушку Нина. — Я такой пляжик знаю, век бы оттуда не ушел!

Люба вдруг поняла, что ей и самой хочется развеяться, отвлечься от неотступных дум. Она подняла Ванюшку, который то и дело пытался встать на крепнущие ножки — деревенский воздух явно шел ему на пользу.

— Иди-ко сюда, милой, иди-ко к баушке! — протянула к нему руки Тюриха.

Мальчик беззубо засмеялся, ударил ножонками в колени матери.

— Вишь, обрадел, пострел! Любишь баушку? Любишь...

— Мы скоро, бабуля!

— А не торопитесь, день-от долог!

Нина повела учительницу раменским берегом Ковровки, мимо зарослей, где когда-то сидели Мокрецов и Чапай. За крутой излучиной, у омутка, тоже укрытого береговым ивняком, ютился маленький пляжик с девственно чистым песком.

— Прелесть какая! — ахнула Люба.

— Мы сюда редко бегаем — далековато от деревни, а место хорошее. Правда, Любовь Андреевна?

— Чудо!

Они разделись и в одних купальниках бросились на горячий песок.

— Славно у вас в Раменье! — искренне сказала Люба. — Неужели, Нина, уедешь отсюда после школы?

Девочка сдвинула белесые бровки.

— Не знаю еще. Наверно, уеду. Я ведь в городе ни разу не бывала. Да и чем так жить...

Чтобы как-то отвлечь ее от мрачных дум, Люба стала рассказывать ей о городе, об институте. Припомнила несколько смешных историй, в которые попадали студенты на экзаменах. Нина развеселилась.

Они искупались в чистой прозрачной воде и снова улеглись на пляжике. После недолгого молчания Нина неожиданно спросила:

— Любовь Андреевна, сколько раз в жизни можно влюбиться?

Люба растерялась. Ответить, но как...

— Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила! — раздался вдруг сильный баритон сверху, от ивовых кустов.

Купальщицы вскочили, а с обрывчика на песок легко прыгул сияющий белозубой улыбкой Мокрецов.

— Ох! Так ведь и напугать можно! Откуда ты взялся? — Люба хотела сердито отчитать Мокрецова, но произвольно рассмеялась.

Нина, напротив, помрачнела и начала одеваться.

— Значит, ты никуда не ездил? — спросила Николая Люба.

— Я уже вернулся.

— Интересно, когда это ты успел?

— Ну, я пойду, Любовь Андреевна! — Нина, не дожидаясь ответа, полезла на крутой берег.

— Нина, подожди! Я сейчас, оденусь только!

— Некогда мне, Любовь Андреевна. Дело есть! — девочка, словно боясь, что ее догонят, побежала по берегу, шурша ивовыми ветками.

— Видишь, что ты натворил! — снова сердито хотела сказать Люба, и снова у нее вышло почти шутливо. — Прогнал девчонку!

Она наконец справилась с собой, накинула халат и, поправляя волосы, уже жестко спросила:

— Выходит, ты меня обманул?

— Люба, послушай! Пойми... я вправду уезжал. Вчера утренним автобусом добрался до Коврова... Давай присядем, что мы стоя-то, как дипломаты, — он опустился на редкую траву в том месте, где кончался песчаный

пляжик, но Люба продолжала стоять, и Мокрецов торопливо поднялся снова. — На городской автобус опоздал, пришлось ночевать в гостинице. И такая, знаешь, тоска меня взяла, места не находил: бродил по райцентру, по берегу, а перед глазами все ты... Ну не смог я уехать, что хочешь делай, не смог! Еле утра дождался да на первой попутке обратно...

Любу охватило смятение. Все вчерашние думы скопом нахлынули снова, на язык просились гневные слова, но стоило ей увидеть тревожное, бледное, как в лихорадке, лицо Николая, темные круги под его глазами, как слова эти затерялись где-то — их сменили сочувствие, жалость... Да и только ли жалость?

— Ну, знаешь! — вырвалось у нее наконец. — Все! Хватит! — Так же торопливо, как Нина, она взобралась на береговой откос, бросив через плечо Мокрецову: — Не смей меня провожать!

Она шла в Раменье быстро, словно убегая от погоны, и только дома осознала, что бежала она не от Мокрецова — от самой себя. Поминутно ее преследовали то белозубая, открытая улыбка Николая, то его растерянное, опечаленное лицо.

— Нет, нет, нет! — шептала она ночью, то и дело переворачивая подушку, комкая одеяло.

Два дня она вообще не показывалась на улицу: возилась с Ванюшкой, в десятый раз перебирала книги и материалы, готовясь к школе, вдруг начинала шить новое платье, но все валилось из рук, стоило ей взглянуть в окно. Казалось, зоотехник поставлен на часы к дому Тюрихи — он ходил из конца в конец улицы, вечерами подолгу сидел напротив, на крыльце дома Бирюковых, о чем-то беседуя с хозяином. На третий день утром Люба, как всегда, хотела умыться на реке, но, не дойдя до берега, вернулась обратно: на камне, около которого она обычно умывалась, сидел с удочкой Мокрецов.

Преувеличенное внимание зоотехника к своему дому заметила и Тюриха.

— Повадился, кобель! — ворчала она. — Ужо вот я выйду да выругаю на всю деревню. Дождется у меня!

— Не надо, бабушка! — испугалась Люба. — Я сама с ним поговорю.

В сумерках Люба огородом прошла на Ковровку, рассчитывая, что Мокрецов не пропустит ее появления. Так и случилось.

— Добрый вечер, Люба, — неуверенно поздоровался он.

— Хорошо, что пришел. Поговорить надо.

— Здесь? Давай хоть за деревню прогуляемся по берегу.

Она молча кивнула и пошла рядом по травянистой тропке, протоптанной рыбаками.

— Слушай, Коля, перестань, пожалуйста, преследовать меня! Ведь смешно: на улицу нельзя показаться! Бабушка уж не вытерпела, собирается тебя отругать. Не верю я, что все это серьезно!

— Несерьезно? Эх, Люба! Да куда уж серьезнее. Места себе не нахожу, спать не могу. Пойми ты — нет мне без тебя жизни! Ведь я совсем было решил Раме́нье бросить, пока ты здесь не появилась. Надоело с Кустовым воевать... А теперь к родителям на неделю и то вырваться не смог. Привязала ты меня крепче каната. За тобой везде поеду, пешком хоть до Владивостока пойду! Ты — судьба моя.

— Дурачок! — ласково сказала Люба, тронутая его горячим порывом. — Хорошо, давай начистоту. Я вижу, что нравлюсь тебе. Ты мне, ну скажем так, — не совсем безразличен. Я очень ценю твою дружбу, твою помощь, с тобой мне легко. Да ведь не любовь это! Так, порыв, самовнушение... А я уже один раз обожглась. Опомниться не успела, а ты снова предлагаешь судьбу испытывать... Вот так, с ходу... Давай-ка не будем торопиться. В загс пойти — дело нехитрое. А потом что?

— Да ты только поверь мне, поверь по-настоящему! А я тебя, Любушку свою, всю жизнь на руках носить стану! Понимаю: страшно тебе, трудно поверить. Так хоть не отталкивай, не избегай! Присмотрись ко мне, нет у меня в душе двойного дна! Да ведь и ты вся на виду: ласковая, добрая...

— Ошибаешься, уверяю тебя. Добрая... — усмехнулась она. — Эх, Коля, если бы! Перегорело во мне все доброе. Сама чувствую: черствой становлюсь, злой. Ты не гляди, что я часто улыбаюсь. Я ведь упрямая, своенравная. Если что захочу — разобьюсь, а по-моему будет!

— Так и пусть всегда будет по-твоему! — охотно согласился Николай.

— Даже если неправа?

— Для меня ты всегда права.

— Это ты сейчас так говоришь. А пройдет время...

— То же самое и скажу.

— Не знаю, не знаю...

Она помолчала, собираясь с мыслями, затем тихо, растерянно сказала:

— Я подумаю. Не торопи. Сложно все...

— Прятаться больше не станешь?

— Нет...

С того вечера они стали встречаться часто: то уходили в бор, то сидели вечерами на берегу Ковровки. И разговоры их день ото дня становились душевнее, проще. Люба как бы оттаивала, замечая преданность Мокрецова, его влюбленность, и хотя корила себя за мелкое тщеславие, не могла отказать себе в удовольствии заставляя его вновь и вновь выказывать эту влюбленность. Оттого все их разговоры наполнялись вторым, тайным смыслом, на какую бы тему они ни говорили.

Оставаясь одна, Люба продолжала думать о Николае.

Она отдавала себе отчет, что чувство ее к Мокрецову отличалось от того первого, девичьего. Николай нравился ей крепкой мужской статью, искренностью, душевной обнаженностью, мягкостью и настораживал своей готовностью стелиться ковром под ноги. Такой Мокрецов никак не сходился с ее давним представлением о мужской гордости и силе. Она пока не видела его в общении с другими людьми, но женское чутье подсказывало, что и с другими он мягок, покладист, не умеет возразить и настоять на своем.

В эти дни Люба почти не замечала людей, кроме тех, кто непосредственно окружал ее: сына, Николая, Тюрихи. Именно Тюриха и кинула первый камень в ее без того беспокойный душевный омут. В один из вечеров бабка долго топталась у печки, бросая то робкие, то многозначительные взгляды на квартирантку, так что Люба не выдержала и рассмеялась:

— Да ты, бабуля, сегодня никак выпила рюмочку?

— Кабы рюмочку-то, Любушка, дак что бы! Мне, деушка, погорчeya кое-чего поднесли. Неладно ты, голу-бушка, делаешь...

— Что — неладно? — вспыхнула Люба, догадываясь, о чем пойдет речь.

— А пошто с пьяницей-то связалась, с барбосом-то? Мне бабы, вона, проходу не дают. Добра-де у тебя, баб-

ка, фатеранка: только одного в подоле приволокла, а уж другого смекает. Гляди, Любушка, народ у нас глазастой... Ославят, дак хоть на двор не ходи.

Люба до корней волос залилась румянцем и торопливо приложила ладони к щекам.

— А все он, кобелина мокрохвостой! Прилепился к бабе, словно девок ему нет! — продолжала ругаться Тюриха. — Зимородок окаянной, кой леший его и в Раменье-то принес!

Люба принужденно улыбнулась:

— Полно, бабуля! Поговорят да и бросят. Ты ведь знаешь, что я плохого ничего не позволю. Я и сама хотела совета у тебя попросить. Может, мне замуж за него выйти?

— Да ты, девка, в уме ли? — Тюриха покачала головой. — На что тебе экой малахольной? Взамуж? Бойка больно, враз смекнула. Оно, конечно, все лучше, чем так-то... А только, Любушка, ладом подумай. Жизнь тебя одинова покарала, как бы вдругоредь слезы не лить.

И Люба стала думать «ладом». Одно для нее было бесспорным — надо на что-то решаться: или уступить настойчивости Мокрецова и выйти за него замуж, или порвать с ним раз и навсегда, чтобы заткнуть рот деревенским сплетницам, той же Насте Осокиной. За недолгие три недели она успела привыкнуть к влюбленному в нее зоотехнику. Но, начиная склоняться к мысли соединить с ним свою судьбу, Люба с опаской вспоминала пророчество бабки: «как бы вдругоредь слезы не лить». Что если и новое ее увлечение — очередная ошибка? Конечно, размышляла она, Мокрецов душевен, не мелочен. Он, наверно, никогда не попрекнет ни ее, ни Ванюшку, возможно, даже будет хорошим отцом. Это ведь в конечном счете самое главное: сыну без отца расти — тоже не дело — любой обидит. Но отчего же, отчего так страшно решиться?

Через два дня после неприятного разговора с Тюрихой к учительнице забежала Нина Осокина:

— Любовь Андреевна, я сегодня Варвару Николаевну встретила, так она наказывала, чтобы вы с обеда в школу пришли.

— Спасибо, Нина, приду. Да ты сядь, посиди. С Ванюшкой хочешь поиграть?

Нина грустно улыбнулась и тут же нахмурила белевые бровки.

— Нет, Любовь Андреевна, мне бежать надо.

— Как хочешь.

Люба почувствовала, что с Ниной происходит что-то неладное. Еще так недавно она почти не выходила из домика бабки Тюрихи: то, заливаясь смехом, самозабвенно играла с Ванюшкой, то помогала по хозяйству, то рассказывала о школе. Она охотно вызывалась делать самую нудную работу, так что Люба иногда даже сердилась и гнала ее от себя. Но стоило ей только взглянуть на расстроенное Ниноино лицо с такими милыми конопushками, как сразу хотелось прижать эту девчушку к груди, приласкать, утешить. После встречи с Мокрецовым на пляже Нина все чаще хмурила свои белесые бровки, а когда видела учительницу с зоотехником, смотрела на них почти враждебно. Все реже случались у нее минуты откровенности, все чаще появлялись в глазах отчуждение и тоска. В последнее время она вообще не заходила к Тюрихе. Люба не придавала этому никакого значения: мало ли дел, особенно под осень! Но сегодняшний «визит» Нины насторожил ее.

Попросив Тюриху посмотреть за сыном, Люба через полчаса была уже в школе. Прислушиваясь к своим гулким шагам, звук которых разносился по всему зданию, она поднялась на второй этаж и на секунду остановилась у директорской двери, а затем по старой школьной привычке тихо и застенчиво открыла ее.

Одетая в строгий темно-синий костюм, гладко причесанная Варвара Николаевна пристально оглядела новенькую учительницу с головы до ног, пригласила кивком:

— Садись, разбираться будем. Значит, так: двадцать пять часов в неделю, классы седьмой, восьмой и девятый, классное руководство в девятом. Устраивает?

— А без классного нельзя на первых порах?

— Нельзя. Нельзя, голубушка, без классного. Думала долго — некому. Бери расписание. Читай, критикуй. Второе. Завтра придешь к девяти, школу поможешь вымыть. А послезавтра в район собирайся, на учительскую конференцию. Все понятно?

— Понятно, только...

— Без «только». Не люблю. Все решено и подписано. Одно мне неясно: что за шуры-муры ты развела с зоотехником? Вроде серьезным человеком мне показалась, а тут — на тебе! Не гоже, матушка. Прямо скажу:

погуливать намерена, так собирайся, пока не поздно, в другую школу.

— Да как вам не стыдно, Варвара Николаевна! — будто ошпаренная вскочила Люба. — Какие-то грязные сплетни, а вы... вы...

— Коли неправда, тем лучше. Но учти, в нашей деревне дыма без огня не бывает. А тебе особо свою репутацию поддерживать надо, сама знаешь, почему. Он что, жениться хочет?

Люба со слезами на глазах кивнула.

— Ну так и выходи замуж, не смущай народ. Будет все честь по чести — никто слова не скажет. Все. Разговора, считай, не было, а выводы делай. У нас как-никак школа. Значит, завтра к девяти.

Люба чуть не ощупью вышла из кабинета: глаза застилало. Прислонившись к окну, тихо всхлипнула. Потом, смахнув слезы платочком и несколько успокоившись, долго смотрела вдаль, на бор, зеленеющий за Ковровкой. Отсюда, с высоты, виделся он необыкновенно отчетливо.

Вечером она дала согласие стать женой Мокрецова, предупредив, однако, чтоб он и думать не смел ни о какой свадьбе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Люба быстро забыла вопрос Нины Осокиной, который на пляже поставил ее в столь неловкое положение. Между тем вопрос этот, далеко не простой для Нины, был вызван не обычным девичьим любопытством, а совсем другими причинами.

Отца своего Нина не помнила. В добрых полудетских снах он виделся ей красивым и статным, но черты его лица Нина рассмотреть не могла, они были ускользающе-неясными.

Отец утонул на сплаве вскоре после рождения дочери, и шалая вода весенней Ковровки навсегда скрыла его. Выходить замуж за другого Настя Осокина не решилась, хотя миловидностью обижена не была, и женихи находились. Зато Нина в тепле материнской ласки росла, как ухоженный цветок, и платила Насте дочерней привязанностью и любовью. Она была одной из первых учениц в школе и во всем помогала дома и со-

селям. Иногда ее готовность к любой работе, желание откликнуться на каждую просьбу настораживали Настю. Глядя дочь по голове, она выговаривала:

— Тихоня ты у меня. В отца, видно. Маленько бы тебе побойчее быть. А то умру — и станет на тебе всяк воду возить.

Нина вздрагивала, пугаясь:

— Полно тебе, мам, не дело-то говорить! В тридцать пять лет умирать снарядилась! Мы с тобой до моей старости доживем. Ну отвечай, доживем?

— Добро бы дожить-то, — смеялась Настя. — Внуков бы хоть понянчить...

— Ну-у, мама! — укоризненно тянула Нина.

Большое, не по семье, хозяйство Осокиных — огород, корова, овцы, куры — перестало быть в тягость, когда подросла дочь. Всякое дело спорилось у нее в руках, и Настя уходила на работу со спокойной душой.

Беда подкралась к их семье после того, как Настя опрометчиво согласилась заведовать Раменским магазином, а заодно и распределительным складом сельпо. Еще прошлым летом Нина стала примечать за матерью неладное. Настя нервничала, реже пускалась в откровенности, раза два ни за что ни про что отругала дочь.

В один из зимних вечеров, когда мать особенно долго не возвращалась домой, Нина, не выдержав, побежала к магазину. Она уже была у крыльца, когда дверь, скрежетнув внутренним запором, отворилась, выпустив мать и Сакина. Они громко, чересчур оживленно разговаривали и смеялись. Стоя в сторонке, Нина недоуменно наблюдала, как мать неуверенными движениями запирает висячие замки, как смеется чужим, ненатуральным смехом. Сакин показался ей пьяным.

«Неужели в магазине пили?» — с испугом подумала Нина и поспешно, пока не заметили, юркнула за угол.

Когда Настя вернулась домой, от нее незнакомо и противно несло водочным перегаром. Утром, глядя на воспаленное, страдающее лицо матери, Нина жестко спросила:

— С какой радости пили вчера?

— Ревизия была, Нинушка, — словно оправдываясь, искательным тоном ответила мать и жалко скривила губы.

Она еще несколько раз приходила поздно, под хмельком и на вопросительные взгляды дочери отвечала гру-

быми, несправедливыми придирками. Так и тянулось время до лета.

В конце июня Настя, как всегда, вместе с Ниной ушла на сенокос в лесное урочище, поручив соседке приглядывать за хозяйством. Там, на покосе, мать на некоторое время стала прежней — заботливой и родной, какой Нина любила ее. Но в один из ветреных дней на старой сельповской лошади появился в урочище Сакин.

Кивком поздоровавшись с непрошеным гостем, Нина схватила грабли и убежала на дальний край пожни ворошить сено. Сакин был ей противен. Без брезгливости Нина не могла представить себе его маленькое, ложно-многозначительное лицо, не могла спокойно слышать елейный, какой-то паутинный говорок. Смутная догадка, что Сакин связан с матерью чем-то еще, помимо работы, доводила ее до исступления.

Она нарочно задержалась в редких кустах, неторопливо сгребая в валки подсохшее, хрустящее сено, а потом таская его в копны. Как только могла, тянула время, чтобы не встретиться с Сакиным.

«Уехал, слава богу!» — облегченно вздохнула она, услышав, что мать зовет обедать. Но уже у самого стана заметила в кустах стреноженную лошадь, а от костра донеслись голоса и смех. С досадой швырнув грабли на землю, Нина повернула в лес. Она шагала прямо, невидяще, вся переполненная чувством тяжелой обиды и ревности. Шла долго, пока не перестала слышать криков матери, которая время от времени звала ее. К стану вернулась поздно вечером и застала мать плачущей в темной норе шалаша.

— Проводила? — без жалости, грубовато спросила дочь.

— Тебя-то где леший носит?! — со слезами в голосе заругалась Настя. — Думаю, заблудилась, искать уж бежала! Работа стоит, а она по лесу шастает!

— У тебя помощник был. Что мало повкалывал?

— Тебя не спросили. Молода в такие дела нос совать.

И хотя на другой день Настя с преувеличенным вниманием ухаживала за дочерью, Нина приняла ее искательность за попытку загладить вину и окончательно убедилась, что вина, несомненно, есть.

А вскоре Сакин пришел к ним в дом. Пришел не

таясь, будто хозяин, зыркнул на Нину сверлящими глазами, заговорил умильно:

— А что, Настенька, не посидеть ли нам рядком, не поговорить ли ладком? Так скучно дома сделалось, так скучно — хоть волком вой. Прихватил бутылочку, авось, смекаю, не выгонит Настенька.

От стыда, от сознания своей беспомощности на глаза Нины навернулись слезы. Она рывком схватила платок, лихорадочно натянула туфли и что есть силы хлопнула дверью. Домой она вернулась поздно ночью. Настя плакала. На миг сердце девушки кольнула острая жалость, но она решительно подавила ее в себе.

— Осуждаешь? — горестно спросила Настя. — Ничего-то ты, девка, не знаешь, сирота ты моя несчастная...

— Напилась, так спи! — сурово оборвала ее Нина. — А если он хоть раз еще к нам припрется — уйду! В тот же день уеду!

— Думаешь, мне легко? Рассказать, так не поверит никто...

— Сказано: спи!

Трещина в отношениях матери и дочери становилась все заметнее.

Приближался сентябрь. Нина, часто видя свою мать заплаканной, поняла, что все намного сложнее, чем представлялось ей поначалу. «А если это любовь? — размышляла Нина. — Последняя, запоздалая любовь, которая, как пишут в романах, всегда горе, всегда страдание...»

Будь так, Нина, пожалуй, могла бы понять и простить мать, даже не принимая ее избранника. Но любовь ли? А что же отец? Значит, мать его не любила? Или можно любить дважды, трижды?

Нине представлялось, что ее сомнения без труда может разрешить новая учительница, судьба которой в чем-то повторяла судьбу ее матери: она тоже любила и осталась одинокой с ребенком на руках, и тоже, как думала Нина, сблизилась с другим мужчиной, с Мокрецовым. Даже не стала дожидаться, когда подрастет сын! Значит, в жизни так бывает, и ничего здесь нет страшного. Но как объяснить растерянность учительницы в ответ на Нинин вопрос на пляже?

Хоть Нина и пыталась, но она так и не смогла оправдать мать. «Любовь, как же! — мстительно решила она. — Дорвалась до мужика — не оттянешь. Стыд совсем по-

теряла, с женатым стариком, у всех на виду... Да и нет никакой любви вовсе! Все вранье, все — грязь, подлость. Бабье несчастное!..»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Первого сентября Люба проснулась чуть ли не вместе с Тюрихой. Свое школьное «парадное» платье она выгладила еще вечером, планы уроков, конспекты, необходимые, по ее мнению, вырезки заранее уложила в портфель, и хотя до занятий оставалось добрых три часа, а ее урок был вторым, все равно не могла улежать в постели. Все мысли, чувства были сосредоточены на школе. Даже сознание того, что подано заявление в загс и скоро ее судьба должна круто перемениться, отодвинулось куда-то на задний план, заслоненное беспокойным ожиданием первого самостоятельного урока.

В институте ее считали прирожденным педагогом, в школах, где она проходила практику, хвалили, но Люба понимала, что те отзывы и те похвалы несли на себе печать снисходительности опытных людей к студентке, подающей, как говорится, надежды, но не хлебнувшей пока полной мерой школьного лиха. Вот почему сегодня она с замиранием сердца поглядывала на часы, стрелки которых неумолимо приближались к роковой цифре.

В восемь часов Люба вдруг заторопилась, разбудила Ванюшку и, наскоро покормив его, передала плачущего на руки бабушке, а сама в считанные минуты собралась уходить.

— Ну, — мимоходом взглянув на себя в зеркало, сказала Люба таким тоном, словно уезжала на годы. — Ну, бабушка! Пойду.

— С богом! — ответила Тюриха, укачивая присмирившего Ванюшку. — Сотонам-то нашим так больно и не поддавайся. Станут шалить —хвати за ухо которого, да и волоки к Варваре. От Варвары и колом не отмахнешься.

— Как-нибудь, бабуленька! — невольно рассмеялась Люба. — Молоко Ванюшке только не забудь подогреть, как бы животик от холодного не схватило.

— Да пошто забуду-то? На шестке и стоит, так всякое теплое сделается. Поди, поди, не расстраивайся попусту.

В учительской, куда Люба прошла мимо любопытст-

вующих учеников, сидели знакомые ей по конференции историчка Зинаида Федоровна, физик Анатолий Иванович и еще несколько учителей, которых она видела впервые.

— Боишься? — дружелюбно шепнула ей Зинаида Федоровна, пригласив садиться рядом с собой.

— Ага! — тоже почему-то шепотом ответила Люба.

— Ничего! Первый у тебя в девятом? Там ребята хорошие, все нормально будет.

От маленькой дружеской поддержки стало как будто легче.

На торжественной линейке Варвара Николаевна, напутствуя первоклассников, заключила басом:

— Учитесь так, чтобы учителя ваши вами гордились. А не то...

Какие беды грозят первоклашкам в противном случае, так никто и не узнал.

Преподаватели разошлись на первый урок, и Люба в ожидании, когда он окончится, вся истомилась, меряя шагами опустевшую учительскую. Незадолго до звонка появилась Варвара Николаевна, добродушно проворчала:

— Не топчись, не топчись. Нервы подбери. Не на казнь идешь — на работу. Кстати, спросить тебя забыла... Я тут с председателем колхоза договорилась, чтобы сухих дров учителям подбросил кубометров по пять. Тебе куда подвезти?

— Как — куда? Где живу, туда и подвезти.

— Хм... Задала задачку. А где живешь?

— У бабушки.

— И он туда переселится?

— Нет, нам дают квартиру в доме для специалистов.

— Стало быть, и дрова туда надо везти.

— Может, не скоро еще переедем. Да и все равно эти дрова я бабушке оставляю.

— Ишь, раздобрилась. Что я тебе — богоугодное заведение? Ладно, после потолкуем. Готовься к уроку. Провожу, представлю. Только не трясись ты со страху! Не люблю.

Ее грубоватые слова немного ободрили Любу. Но, войдя в класс следом за Варварой Николаевной, она с ужасом почувствовала, как у нее мелкой дрожью затряслись коленки, а лица учеников расплылись перед глазами, превратившись в бледное бесформенное пятно.

Дверь за директрисой закрылась, и Люба, опустившись на стул и не поднимая глаз от классного журнала, сказала вдруг осипшим голосом:

— Давайте знакомиться. Алферьева!

— Я! — поднялась из-за парты девушка, явно выросшая из прошлогоднего форменного платья.

Постепенно Люба успокоилась и довольно смело стала всматриваться в лица встававших по ее вызову учеников, радуясь каждый раз, когда попадались знакомые, будь то белобрысая Нина Осокина, или сосед бабки Тюрихи Коля Куликов, или дерзко прищуренная Томка Кустова.

«Да отличные они все ребята! — с крепнувшей уверенностью подумала вдруг Люба. — Надо только верный тон найти, найти именно сейчас, вот на этом, самом первом уроке, а тогда все наладится...»

Окончив переключку, она коротко рассказала о том, что они будут изучать в девятом классе, и остановилась на мировом значении литературы девятнадцатого века.

Неожиданно для себя она вдруг заговорила высоким «штилем»:

— Мудрость, глубокое знание души человеческой всегда были присущи великой русской литературе. Лишь бы только появилось желание припасть губами к струе этой освежающей мудрости, лишь бы не победила этого желания лень или косная завеса непонимания...

— Вопрос можно, Любовь Андреевна? — перебила ее Томка Кустова и, не дожидаясь разрешения, спросила: — Скажите, а вы сами часто припадаете... губами?

На задней парте кто-то хихикнул, а Вера Морозова дернула Томку за платье так, что та звучно шлепнулась на скамейку. Класс замер, ожидая реакции учительницы. Люба мгновение растерянно смотрела на Томку, которая по-прежнему дерзко не опускала глаз, но тут же овладела собой.

— Надеюсь, Кустова, на лучшие времена, когда ты отчетливо поймешь, какую глупость сейчас сказала. А пока могу только ответить пословицей: наглость — дар божий, но и его надо использовать в меру.

По классу пронесся одобрителный смешок. Томка густо покраснела.

После занятий Люба несколько задержалась в классе, а потому вошла в учительскую, когда большинство коллег уже были там и перекидывались летними новос-

тами. При ее появлении все замолчали. Она сразу поняла в чем дело: в учительской сидел Мокрецов, и все с любопытством ожидали ее реакции на это. Любу покорило их слишком явное любопытство и то, что, потерявшись в незнакомой обстановке, Николай одиноко пристроился на краешке стула у стены. «Как бедный родственник», — с чувством жалости и обиды за Мокрецова подумала Люба. Окинув насторожившихся учителей насмешливым взглядом, она подошла к Николаю, который, заметив ее, торопливо поднялся навстречу.

— Ты за мной, Коля? Молодец, что зашел. Я сейчас соберусь, — громко, так, чтобы все слышали, сказала она.

— Ничего, ты не торопись, я подожду, — смущенно пробормотал зоотехник.

Теперь, когда первое любопытство было удовлетворено, все снова якобы занялись своими делами и разговорами, но мимолетные косые взгляды на нее и Мокрецова задевали Любу еще больше, чем откровенное внимание. Она торопливо собрала свои вещи и, сухо попрощавшись, вышла вместе с Николаем. Не успели они спуститься по лестнице, как сзади, за дверями учительской, грохнул взрыв смеха. Люба покраснела от досады и закусила губу.

— Вот люди! — осуждающе произнес Николай — А ведь они призваны других учить становиться лучше. Ты расстроилась? — огорчился он.

— Нет, зачем? — устало ответила Люба.

— Вообще-то, ну их всех к богу! У нас праздник сегодня! Пить, петь и веселиться — вот чем будем заниматься.

— Праздник?

— И не один. Начало учебного года — раз! Первый блин, виноват, шаг молодого специалиста по тернистому пути просвещения — два! А самое главное: родится новая семья — три, четыре, пять!

— Вышел Коля погулять. Пожалуй, и вправду не шаг, а блин. И, как водится, комом. Ты меня проводишь?

— Только сначала квартиру посмотрим, ладно? Сегодня закончили отделывать.

— Что ты! Ванюшка там плачет-заливается...

— Да я только что от бабки. Спит и тебя во сне видит. Даже улыбается во сне — такой карапузик!

Знаешь ведь, как я его люблю: не стал бы звать, если бы он плакал. Так завернем, а?

Искренний тон, добрая улыбка Мокрецова, когда он говорил о сыне, подкупили Любу, и она повернула к дому для специалистов.

Переступив порог квартиры, остановилась в замешательстве. Комнаты были чисто вымыты, прибраны, блестя крашеными полами, свежей побелкой потолков и печей. Со вкусом были подобраны обои на стенах, но отсутствие мебели придавало квартире нежилой вид. Только на одном из подоконников стояли цветы в стеклянной вазе, бутылка шампанского и два бокала.

— Каково гнездышко? — довольный собой, спросил Мокрецов. — Я из строителей всю душу вытряс, чтобы быстрее квартиру отделявали. Теперь все, можно переезжать. Вон там — спальня, — отворил он дверь. — Тебе нравится? Пойдем еще кухню поглядим.

— Без мебели голо как-то...

— Да будет мебель, будет! — взъерошил волосы Мокрецов. — Пока старенькая, конечно. Не волнуйся, постепенно все купим! Давай-ка выпьем за квартиру да за твой первый школьный день!

Он ловко раскупорил бутылку, наполнил бокалы.

— Я поднимаю тост за великую просветительницу раменского народа Любовь Андреевну Мокрецову, непревзойденную женщину и педагога!

— Нашел тоже педагога! — невесело отшутилась Люба, мрачное настроение которой постепенно рассеивалось. — Меня ваш раменский народ на первом же уроке чуть не съел.

— Куда милиция смотрит, — изобразил возмущение Николай. — Я этого так не оставлю! Я тебя, Любушка, сам съем, никому не отдам.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Быстренько, быстренько! — гроыхала директриса командирским басом на входящих в кабинет учителей. — Рассаживайтесь. Все в сборе? Прямо по классике: должна сообщить вам пренеприятное известие. С завтрашнего дня вся школа, кроме начальных и десятого, направляется на картошку. На месяц. Уберем раньше, раньше за парты сядем. Я сейчас зачитаю гра-

фик, кому куда. Пятые, шестые и ваш девятый, Любовь Андреевна, остаются в Раменье — тут самые большие площади. Седьмой...

Дальше Люба не слушала. «А мне и в поле выйти не в чем! — испуганно подумала она. — Даже сапог настоящих нет...»

С одеждой выручил Мокрецов. Он жил все эти дни в приподнято-радостном настроении. Обставляя новую квартиру второпях купленной и взятой у соседей взаймы мебелью, он носился по деревне то один, то с Валькой Чапаям и раз пять на день забегал к Тюрихе доложить жене, как идет дело.

— Полно, женушка, горевать! — сказал он, обнимая Любу. — Я тебе такую куфайку с мокроступами достану — закачаешься!

Посмеиваясь, исчез из дома, а через полчаса вернулся с большим свертком, в котором оказались поношенные, но крепкие еще резиновые сапоги и почти новая куфайка, чуть-чуть пахнувшая силосом,

Люба тут же примерила «обмундирование».

— Ну, колхозница! — восхищался Мокрецов. — Он обхватил Любу и закружил ее по комнате. — Во всех ты, душечка, нарядах хороша!

— Тише, Коля! — со смехом отбивалась она. — Чумной, Ванюшку перепугаешь!

Наутро бабка Тюриха проводила Любу на работу с ворчанием:

— Без тебя дак и не выкопают колхозну-то картошку! Барбос-от твой так же бегают — шел бы да и копал! А тебе тоже и слова поперек не сказать. Мысленное дело — бабу от ребенка на работу посылать!

— Может, тебе Ванюшка надоед, бабушка? Ты прямо скажи, придумаем чего-нибудь...

— Сиди! Напридумывали уж. Иди, Ваня, иди, кормилец, ко мне, иди, милой! Жаль мне вас, Любушка, так-то жаль! Опять одна останусь. Все и стану переживать, ладно ли там у вас, не обижает ли барбос...

— Полно, бабуля, расстраиваться! Все будет хорошо!

— Дай-то бог!

Квартира была готова. Вечером за ними пришел Мокрецов. Собирались недолго: тот же большой коричневый чемодан да кожаная сумка вместили все Любино «приданое». Договорились с Тюрихой, что будут остав-

лять у нее Ванюшку на то время, пока Люба в школе, и, распрощавшись с плачущей бабкой, покинули ее гостеприимный домик.

Шагая по деревенской улице рядом с Мокрецовым, который нес чемодан и сумку, Люба замечала в окнах любопытствующие лица, а на сердце было тревожно. Который раз в этом году приходилось ей начинать жизнь заново! Рождение ребенка... Переезд в Раменье... Первый самостоятельный урок... А теперь еще и это скоропалительное замужество...

Она бывала в новой квартире не раз, но сейчас входила сюда как полноправная хозяйка и осмотрела все, будто заново. Узкая железная кровать Николая в спальне соседствовала с деревянной детской кроваткой, взятой на время у соседей. «Туалетный столик сюда обязательно надо и шкаф для одежды», — подумала Люба мимоходом. В большой комнате стояли купленные в магазине Насти Осокиной диван и раздвижной стол, два разномастных стула (стульев на складе не было). В кухню Мокрецов притащил маленький столик от Вальки Чапая, прибил к стенам самодельные полки. Тут же торчала еще не установленная газовая плита, кособочились две самодельные табуретки.

— Небогато, Любушка! — взъерошил волосы Мокрецов. — Да ты не расстраивайся, все со временем будет! Вот поедем регистрироваться в Коврово, привезем кое-что из мебели. Я ссуду в колхозе взял.

— У меня тоже деньги есть, Коля. От мамы осталось немного...

Он обнял ее, пытливо заглянул в глаза:

— Будем жить?

— Будем... — твердо ответила Люба.

Промелькнули первые суматошные дни, совсем разные для каждого из них. Если для Мокрецова все они слились в ощущение праздника, незаслуженного, как ему казалось, счастья, то Люба все не переставала мучиться сомнениями. Она не отталкивала мужа, но и не могла переломить в себе что-то, мешающее отдаться ему всем сердцем, радостно и безоглядно. Чего-то не хватало в их отношениях, но чего именно, она не могла понять. Попытки разобраться в этом были мучительны, и Люба, уходя от них, старалась забыться в работе.

В поле ее девятиклассники стали вроде бы доступнее, ближе. «В поход бы с ними сходить, заночевать у

костра! — подумала она однажды. — Сколько нового в каждом открылось бы!» И тут же поделилась своей идеей с ребятами. Посыпались десятки предложений. Интернатовские звали каждый в свою деревню, раменские хвалили заветные места в бору. Примирило всех предложение Коли Куликова:

— Давайте, Любовь Андреевна, я с егерем дядей Мишей Борболиным договорюсь, чтобы нас на озеро Долгое сводил. Места, сказывают, больно добры, только дорога худая, через болота.

— Ой, правда, Коленька, поговори с дядей Мишей! — загорелась Томка Кустова.

— А не опасно туда добираться? — усомнилась Люба.

— С Борболиным? Да он каждый кустик знает! На том и порешили.

Приходя с поля, Люба смеялась шуткам счастливого Мокрецова, который догуливал последние дни отпуска, и пока он готовил незамысловатый ужин, бежала за сыном к Тюрихе.

В один из таких вечеров, накормив и уложив Ванюшку в кроватку, Люба завела разговор.

— Я все собиралась тебя спросить, Коля... Вроде бы колхоз ваш передовой, заработки хорошие, а деревни вокруг пустеют и пустеют — отчего? В нынешнем году, говорят, десятый класс еле-еле сформировали.

— Разве только у нас! Везде так. Закономерный процесс, как пишут в газетах.

— А почему он стал закономерным, этот процесс?

— Видно, отжила свое деревня.

— Непонятно. Тысячи лет жила и вдруг в какие-то двадцать-тридцать лет отжила?

— Отжила! — упрямо качнул головой Мокрецов. — И слава богу! Знаешь, — он доверительно положил руку на хрупкое плечо Любы. — Я даже во сне часто вижу агрогород. Представь: длинные ряды автоматизированных ферм. Сто... нет, пятьсот тысяч голов скота в одном месте! Рядом — мощные комбикормовые заводы, элеваторы на сотни тысяч тонн, железнодорожные подъездные пути, составы с молочными цистернами-холодильниками, вместо хилой зооветслужбы — научно-исследовательский институт... Масштабы как у Череповецкого металлургического, только вместо стальной реки

потечет молочная — представляешь? И кварталы уютных особнячков, все в садах, в зелени.

Люба улыбнулась.

— Боюсь, что в твоём городе дышать нечем будет. Как потянет ветерок со стороны ферм...

— Наоборот! — не принял шутки Николай. — Там будут громадные цехи по утилизации отходов, все герметично, чисто — целый химический завод по выработке порошковых органических удобрений. Эх, не жизнь — сказка! Вот бы за какое дело взяться! Ты только вообрази: кто в таком городе пожалеет о деревнюшках-развалюхах?

— Люди и пожалеют, — просто сказала она. — Ведь город разъединяет. Сам городской стиль жизни несет в себе отчуждение.

— Брось! Начиталась...

— Нет, и сама вижу. Мне, например, будет жаль, если Раменье исчезнет, а вместо него появится твой... агрозавод.

— Не поняла... — огорченно протянул Николай, откидываясь на спинку дивана. — Да ты не бойся, на наш век Раменья хватит. Я в прошлом году Кустову заикнулся о худеньком комплексе, так его чуть кондрашка не хватил. Вот консерватор! — Николай коротко рассмеялся. — «Вперед надо помаленьку идти, но наверняка! — передразнил он председателя. — Идешь вперед — под ноги гляди, да и назад оборачивайся!» Так вот — мелкими шажками. Двадцать лет назад доильные аппараты завели да транспортеры на фермах, десять лет тому — механизированные звенья, а лет эдак через двадцать и за карликовый комплекс примемся. Размах! Тоска зеленая...

— Ну что, и у Кустова есть своя логика, — возразила Люба. — Колхоз-то один из лучших, сам говоришь.

— Из лучших... За счет чего из лучших-то? Знаешь, как Кустов себе престиж иной раз зарабатывает? Да вот хоть последний случай взять, с «подпольной» фермой.

— Что значит — с подпольной? — не поняла Люба.

— Как тебе объяснить... Допустим, у нас в колхозе сто стельных коров. В сводке, которая идет в район, показываем, что их не сто, а девяносто. Приходит срок, коровы, само собой, телятся. Получаем десять нигде не учтенных телочек. Раскидываем их по отдаленным фермам — по одной, по две. Проходит год, у нас из десяти

подпольных телочек получается десять подпольных же коров. Молочко они дают, а в план не входят. Надои в среднем на корову по колхозу высокие, слава Кустова гремит, нам — премии. Не жизнь — малина!

— Не доходит... — Люба наморщила лоб. — Почему надои высокие? Ведь каждая корова даст столько же, сколько и раньше?

Мокрецов пояснил:

— За фермой числится десять коров. Допустим, что все они надоили за месяц две тысячи пятьсот килограммов. Делим эту сумму на десять. Средняя продуктивность каждой коровы получается двести пятьдесят килограммов. Ясно?

— Пожалуй.

— Но на самом-то деле на ферме стоит двенадцать коров, хотя мы и не сообщаем об этом в район. От двенадцати коров за месяц получено уже три тысячи килограммов. Но делятся эти три тысячи не на двенадцать, а на десять! И продуктивность одной коровы получается уже не двести пятьдесят, а триста килограммов. Простенькая задачка?

— Но ведь это — обман!

— Конечно.

— Неужели так можно? — Люба тревожно взглянула на мужа. — Даже не верится...

— Кустову все можно! — махнул рукой Николай.

— И сколько таких... подпольных коров у вас?

— Пока нисколько, но планируются. Не так давно, перед отпуском, Кустов заставил меня сводку по яловости переделать, так что голов пятнадцать неучтенных в будущем году народится.

— Постой! Как это — заставил? Ведь ты знал, что незаконно?

— Знал, само собой.

— И ты на это пошел?

— Пошел.

— Не понимаю. Почему?

— А попробуй не согласишься! Кустов наорал, кулаком стукнул по столу: «Делай, как приказано, не то вылетишь из колхоза!» И сводка у него уж перепечатана была, только подпись оставалось поставить.

— И ты поставил?

— Ну поставил, поставил! Что мне — больше всех надо! Благородного рыцаря из себя корчить?

Несколько секунд Люба пристально смотрела на мужа, словно видя его впервые. Мокрецов выглядел пристыженным и в то же время сердитым, пухлые губы его по-мальчишески обиженно вздрагивали.

— Скажи, Коля, ты — честный? — неожиданно спросила Люба.

Николай смущенно отвел глаза.

— Да ерунда все это. Дела колхозные... Тебя они и не касаются вовсе.

— Нет, ты все-таки скажи: ты — честный?

— Считаю, что да.

— Удивительно! — колко бросила Люба. — Участвовать в обмане и чувствовать себя честным человеком! Убей бог, не могу сообразить, как это совмещается. Ан, надо же, совмещается! Ну и ну... — она резко отодвинулась от мужа, сбросила с плеча его руку.

— Ты какая-то максималистка, Люба. Как будто в безвоздушном пространстве выросла. Такие ли дела обделывают, да ничего, все с рук сходит.

Она поднялась с дивана, прошла по комнате, потом резко повернулась.

— Может, оттого и максималистка, что выросла не в безвоздушном пространстве. Всю жизнь корбила меня ложь, показуха. И в школе, и в институте. Да что там, я и первого своего за обман возненавидела! Что делать, Коля, — такая уж уродилась, видно. Многие могут понять и простить — только не обман. Ошибки, заблуждения, горячность — многое, только не вранье!

— Ну что тебе до колхозных порядков?

— Меня, мол, и не касаются, да? Но ведь тебя-то касаются! А если дело раскроется?

— Не я один в ответе. Мне приказывают — я исполняю.

— «Мы только мошки, мы ждем кормежки», — насмешливо процитировала она. — Ты что, полагаешь, Кустов за тебя отдуваться станет? Укроет широкой спиной? А если наоборот? Если ты — та самая ширма, за которую ему в случае чего спрятаться удобно?

— Волков бояться — в лес не ходить, — растерянно попытался пошутить Николай, подавляя нахлынувшую тревогу: слова жены могли оказаться пророческими.

— Вон ты, оказывается, какой... Мне, Коля, не суд страшен. Судись за правое дело — слова не скажу, передачи тебе носить стану. Но быть женой нечестного

человека — нет уж, извини! Обмана, жульничества никогда не прошу, так и знай, Коля!

— Ну полно, успокойся...

— Ты пойми: где обман, там затаенность, внутреннее беспокойство. А не будет у тебя на душе покоя, станут грызть тайные мысли — ведь мы тогда уж откровенно и поговорить не сможем. Начнутся недомолвки, увиливания, потом вражда... Ты такой жизни хочешь?

— Люба, дай мне сказать!

— погоди! Выходит, тебя на все уговорить можно, лишь бы не отказать тому, кто просит.

— Преувеличиваешь, Любушка!

— Нет, не преувеличиваю. Я двойной жизнью жить не хочу и не буду. А я ведь упрямая и об этом тебя предупреждала, помнишь, на берегу. Так что либо выпутывайся из этой истории немедленно, либо...

Николай, опустив голову, слушал ее и уже соглашался с нею во всем. Испытывая горькое раскаяние, он любовался женой, ее горячностью и решительностью. «Боже мой! — думал Николай. — Да все сводки в мире не стоят одного ее ласкового взгляда! И черт дернул меня тогда поддаться Кустову! Сам понимал, что неладно делаю, — нет, согласился, идиот!»

Ему удалось, наконец, поймать руку Любы и, не смотря на сопротивление, притянуть жену к себе.

— Прости, Любушка! — быстро заговорил он. — Прости, родная. Конечно, ты права. Обещаю, покончу с этой историей, пока дело далеко не зашло. И впредь никогда ничего такого не будет. Ну по глупости все вышло, уговорил Кустов. И на старуху бывает проруха...

— Вот-вот, уговорил! — остывшая, но все еще сердито подхватила Люба.

— Понимаешь, я как-то значения этому не придавал. Кустов с Морозовым твердят: так надо. А раз надо — что мне, долго подмахнуть несчастную бумажку? Теперь все, баста! Да мне одно твое слово дороже всех кустовских приказов! Без Кустова я как-нибудь проживу, а без тебя — крышка Коле Мокрецову! Ну успокойся, прости, добрый ты мой человек!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Бабье лето внезапно сменилось слякотью, мелкий дождь сеялся с низкого неба почти непрерывно. Дул

промоглый западный ветер. Земля на картофельном поле превратилась в грязь. Лишь в свежих бороздах, только что прорытых картофелекопалкой, клубни некоторое время оставались чистыми и сухими. Энтузиазм учеников заметно падал. Начались не то всамделишные, не то придуманные болезни. Одним из первых «заболел» Петька Сакин: он с сияющим лицом прибежал в поле и, не скрывая радости, показал фельдшерское освобождение от работы. Затем заболели две интернатские девочки из Федоровской. В один из дней не появилась в поле Нина Осокина.

Возвращаясь в этот день с поля домой, Люба завернула в магазин за хлебом. После памятного разговора с Настей она ходила в магазин неохотно — чаще посылала мужа, но сегодня, хочешь не хочешь, надо было узнать, что с Ниной.

Магазин, вероятно, из-за плохой погоды пустовал.

— Нина ваша сегодня на картошке не была, — не глядя на продавщицу, как бы между прочим, сказала Люба.

— Лежит она. Заболела, — так же натянуто отозвалась Настя. — Худущая да капризная стала, спасу нет. А в медпункт не идет, хоть ты что. Ну да, может, и так пройдет, поотлежится.

— С ней вообще что-то неладное происходит...

— Эх, Любовь Андреевна! Рассказать все так...

В магазин вошли люди, и Настя прекратила разговор.

Всему на свете приходит конец. Остался позади и длинный «картофельный» месяц. Погода словно того и ждала: дожди утихли, и в начале октября выдалось несколько погожих, на удивление теплых деньков, словно лето подарило раменцам свой прощальный вздох.

В пятницу Люба увидела в школьном коридоре седого плотного старика.

— Тебя дожидаясь, красавица, — негромко произнес он. — Егерь я здешний, Борболин Михаил Иванович. Коли не передумали на озеро, так завтра подаваться надо, пока распогодилось.

— Спасибо, Михаил Иванович! — поблагодарила Люба. — Ребята мне уж сколько раз о походе напомнили.

— Ждать, стало быть?

— Обязательно! Придем пораньше завтра, попрошу для такого случая уроки переставить.

Против похода неожиданно восстал Мокрецов. Он вернулся с работы возбужденный, радостный, а встретив приветливый взгляд жены, сидевшей над тетрадками, еще больше развеселился.

— А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! — дурашливо пропел он. — Чем женушка будет кормить своего мужичка?

— Горячая картошка с солеными рыжиками устроит мужичка? — поддаваясь его настроению, так же весело спросила Люба.

— Всю жизнь мечтал! — Николай широко раскинул руки, загораживая жене проход на кухню, а затем обнял и крепко прижал ее к себе.

— Пусти, мужичок! Кости сломаешь — кто кормить будет?

— Не сломаю, не сломаю! — продолжал дурачиться Николай. Подхватив Любу на руки, он закружил по комнате.

— Да ты что сегодня? — смеясь, отбивалась она. — Премию, что ли, получил?

— Больше! Больше, Любушка! — Николай осторожно усадил ее на диван, опустился рядом. — Порядок в отчетности навел. Конец подпольным фермам! А знаешь, Любушка, до чего верно ты сказала тогда... Сегодня у меня будто глаза открылись. Нельзя жить с двойным дном — твоя правда, нельзя!

— А Кустов? Подписал твои сводки?

— Нет его, — смешался на мгновение Николай. — Вчера еще на бюро в Коврово уехал. Вообще-то он строго-настрого запретил без его ведома и подписи сводки в район посылать — так что будет мне завтра выволочка. А, наплевать! Переживем! Пошли, солнышко, лопать твою картошку с рыжиками! — обняв жену за плечи, Николай направился в кухню. — Я ведь теперь чист, как березовый листочек. А это — самое главное, верно?

— Молодец! Умница! — похвалила его Люба.

За ужином они смеялись и шутили, как никогда прежде. Желая продлить столь счастливо начавшийся вечер, Николай предложил:

— Пойдем погуляем! На Ковровку, в бор — а?

— Ой, Коля, не могу. Тетради надо проверить, на понедельник к урокам подготовиться... Дел — пропасть!

— Так ведь завтра суббота. Времени — вагон! Соберись, собирайся! Ванюшку заберем... На улице тепло, будто в августе.

— Видишь ли, завтра мы с ребятами в поход собрались. Егерь Борболин на озеро обещал сводить с ночевкой, — смущенно призналась Люба.

Лицо Мокрецова вытянулось. Радостное оживление уступило место по-детски простодушной обиде.

— Вот так фокус! — наконец выдавил он. — Опять, значит, выходной насмарку. И чего вы потеряли на этом паршивом озере? Зеленых лягушек?

— Ну как ты не понимаешь! Не мне поход нужен — ребятам! Теперь уж поздно отказываться: всем объявлено, все собираются...

Николай с каждой минутой мрачнел все больше. Хорошего настроения как не бывало. В конце концов он отодвинул недопитый стакан чаю.

— Ну что ж, останусь опять... в няньках. Освою смежную специальность. Под старость, как бабке Тюрихе, кусок хлеба...

— Да что ты, Коля, как маленький, в самом деле! Ванюшка у бабушки переночует, а я в воскресенье к обеду вернусь, — и впрямь, как маленького, уговаривала мужа Люба. — Ну не сердись, хороший мой...

— На тебя рассердишься! — сразу подобрел Николай.

Ссору удалось предотвратить, но чувство недовольства осталось в душе Николая. Еще бы! Летел домой, как на крыльях, не терпелось поделиться радостью — и на тебе! Конечно, не ей завтра с Кустовым объясняться за самоуправство...

Утром он довольно прохладно попрощался с женой — напутствовал только:

— Осторожнее там, в болотах.

Его томило беспокойство. Сводки без подписи председателя, пересланные вчера с колхозной машиной, должны были попасть в управление около полудня, и если Кустов заходил туда после обеда — а то, что он заходил, почти не вызывало сомнений, — предстояло ждать грозы. И лишь сознание собственной правоты сглаживало тревогу Мокрецова.

«А! Не съест же он меня в конце-то концов!» — решил Николай, переступая порог комнаты специалистов. Постоял у окна, которое выходило на залитый солнцем

дворик, потом присел к столу, соображая, какие из множества неотложных дел самые главные на сегодня. Надо готовиться к сдаче молодняка на мясо, а для этого предстоит взвесить телят на Раменском и Федоровском дворах. Начать лучше, пожалуй, с Раменского — здесь скота меньше, а потом уж приниматься за откормочников в бригаде Барабашкина. На телятник, правда, сейчас не попадешь: как всегда по субботам, Кустов будет проводить планерку...

Обдумывая все это, Николай невольно прислушивался к доносившимся до него звукам. Звуки были обычными: топали сапогами механизаторы, раздался спорящий женский голос, чей-то раскатистый смех. «Мебель пока не ломает», — с кислой усмешкой подумал Мокрецов о Кустове. И тут же в комнату заглянула секретарша Надежда Сорокина.

— Зовет, Николай Михайлович! — прошептала она, делая большие глаза.

Стараясь скрыть робость, Николай направился к председателю.

— Ты переслал вчера сводки в управление? — вместо приветствия спросил Кустов, отодвигая бумаги.

— Я.

— Без моей подписи?

— Без.

— Ну и как же это понимать? — голос председателя звучал ровно, хотя в тоне сквозила скрытая угроза. — Ты что, забыл наш разговор?

— Не забыл, Владимир Анатольевич. А понимать надо так, что подпольной фермы не будет, — ответил зоотехник, стараясь говорить твердо.

Кустов, набывшись, смотрел на него некоторое время и вдруг коротко, сухо рассмеялся.

— Садись, — жестом пригласил он.

Николай сел на стул у стены, избегая цепкого взгляда председателя.

— На попятную, значит? Слову своему не хозяин? Что мы, по-твоему, в бирюльки играем? Захочу — буду играть, расхотел — не буду, так, что ли?

— Да ведь незаконно!

— Опять за рыбу деньги. Заладил: незаконно! Нужны мне эти телята, понимаешь, нужны! Чего испугался: всю ответственность на себя беру. Выкрутимся, выйдем

из положения — вот и вся законность. Победителей не судят. Слушай, неужто тебе честь колхоза не дорога?

— Дорога, Владимир Анатольевич. Потому и говорю: подпольной фермы не будет.

— Ну, что у нас будет, что не будет, мне лучше знать! — вскипел Кустов. — Имей в виду, я вчера самолично исправил твои сводки. Объяснил там, что напутал в отчетности неопытный зоотехник. А больше самоуправства не потерплю!

— И я не потерплю! — сказал Николай, разглядывая половицы. — Сам в управление поеду.

— Так... Ишь, каким ветром подуло! Да ты против кого хвост поднимаешь? Ладно, поговорили! Подавай заявление, освобождай квартиру и сматывайся из колхоза к чертовой матери! В управление он поедет...

«Вот и все! — опустошенно подумал Мокрецов. — Кончен бал».

Однако он удержал себя в руках и произнес спокойно, лишь слегка побледнев:

— Не имеете права. Я у вас три года отработать обязан. И в райкоме меня поддержат, а не вас.

Кустов побагровел, отчего седые брови его еще резче очертили жестко прищуренные глаза.

— Тебя поддержат? Надейся и жди! В общем — точка. Не подашь заявление добром, уволю по статье. Есть за что. Все, свободен.

Мокрецов, повесив голову, направился к двери. А Кустов, проводив зоотехника, снял трубку и набрал номер начальника управления.

— Привет, Семеныч! Узнал?

— Здравствуй, здравствуй, Владимир свет Анатольевич! Тебя и в Москве в трех домах знают, как же мне не узнать! Уже пронюхал, что комбикорма поступили?

— Само собой! — деловито хохотнул Кустов, хотя о комбикормах он слышал впервые. — Три машины пошло.

— Двух хватит. Тебе дай волю, весь районный запас в «Зарю Севера» уволокешь.

— Две так две. И на том спасибо. Да, Семеныч, чуть не забыл... Посоветоваться треба. Нужен мне, понимаешь, толковый зоотехник. Не подскажешь, где взять?

— Тебе ведь дали зоотехника, — удивился началь-

ник управления. — С высшим образованием, отличника...

— Вот он и отличается у меня каждый день. Наверно, расставаться придется.

— Что так? Вроде думающий парнишка.

— Думающий... фантазер! Не ко двору он нам. Сам рассуди: горожанин так горожанин и есть, и отношение у него к деревне: плюнуть да растереть. Чихал он на наше Раменье с высокой колокольни. Интересы к делу никакого, пьянствует, сколько раз уж засекали... Хоть увольняй по статье. Не посодействуешь?

— Нет, брат, не посодействую. Ты подумай: молодой специалист, стаж не отработал — такого по статье уволить не имеем права, тут до министерства доходить надо, да и то неизвестно, чем кончится.

— А ежели в другое хозяйство перекинуть?

— На тебе, боже, что нам не гоже... — рассмеялся начальник управления. — Узнаю Кустова! Нет уж, дорогой, видели очи, что выбирали. Терпи, воспитывай! Ничем не могу помочь.

— Жаль. Неохота к первому по такому пустяку соваться.

— А и он то же скажет. Положение с кадрами, сам знаешь, аховое. Так что не советую. Ну, всего! Комбикорма быстрее вывози, а то останешься на бобах — расхватают.

— Сделаем.

Кустов положил трубку, нервно побарабанил толстыми пальцами, потом нажал кнопку, вделанную в тумбу полированного стола, сказал заглянувшей секретарше:

— Зови народ на планерку.

Председательский кабинет начал заполняться людьми. Кустов пристально и молча окидывал каждого бычьим взглядом из-под насупленных седых бровей, и люди под этим взглядом сжимались, неловко, боком, продвигаясь к свободным стульям. Появился и Мокрецов, бледный, взъерошенный.

— Все в сборе? — оглядел собравшихся председатель. — Механик где?

— Да вот он я.

— Петров отремонтировался?

— Где же успеть, Владимир Анатольевич? Ему задний мост менять надо.

— А мне начхать на твой задний мост! Машин

нет — соображаешь, механик? Давай срочно посылай три машины с трестой в Коврово, обратно комбикорма привезешь.

— На ходу всего две машины...

— Шевелись, ремонтируй! Не ходи ручки в брючки! К завтраму чтобы Петров готов был, ясно?

— Ясно... — недовольно пробурчал механик.

— Зоотехник! — повелительно продолжал Кустов. — В Федоровской новый колодец у телятника сделали?

— Не знаю... — неуверенно ответил Николай. О том, что в Федоровской нужен новый колодец, он слышал впервые.

— Конечно, откуда зоотехнику знать! Он тут у нас на гастролях. Телята, понимаешь, без водыдохнут, а он о прекрасных глазках вздыхает! — По кабинету пронесся смешок: над скоропалительной женитьбой зоотехника потешались многие. — Почаще в бригадах надо бывать! А то все чистенькими норовят ходить, ручки боятся испачкать. Немедленно бери Лунина и езжай в Федоровскую к Барабашкину. К вечеру чтобы новый колодец был подключен к автопоилкам! Телят взвесите и подготовите к сдаче.

— Не успеть, — мрачно возразил Мокрецов.

— Раньше надо было успевать! — взорвался Кустов. — Раньше! Ему, видишь ли, не успеть! Привесы так потерять успел! Короче, не сделаете, что приказано, влеплю строгий выговор обоим. Все!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Мокрецов выбежал из кабинета, хлопнув дверью. «К дьяволу! До сегодня и речи не было о сдаче скота — хотели кормить до Октябрьской. Вот они, сводочки-то, как оборачиваются! К чертовой бабушке! Плюнуть, не ездить никуда... Пойти домой, написать заявление на расчет да и кинуть на стол этому самодуру... Забрать Любу с Ванюшкой и... Куда? — тут же охладил он себя. — К родителям в однокомнатную? Люба домишко свой продала. В другое хозяйство податься — тоже квартиру сразу не дадут. Да и Любу из школы вряд ли отпустят. Уехать одному, а их опять к бабке Тюрихе? Ну нет! Да мне и дня не выжить без них! Нет, ни за что... Тогда... Подчиниться Кустову? Опять

липовые сводки составлять? Тоже не выход. Узнает Люба — тут же концы обрубят... «Да откуда она узнает? — шепнул предательский голос. — Сводки, что ли, проверять станет? Телят по фермам пересчитывать?» — мысли лихорадочно бились в голове.

Между тем Николай, словно автомат, сел в машину, включил зажигание и погнал газик к Раменской ферме. У двора длинным гудком вызвал Чапая. Лунин долго не появлялся, и Николай снова отдался во власть невеселых дум. «Нет, подчиниться Кустову нельзя. — Он сам точно не знал, почему, только чувствовал, что нельзя. — Одно обидно: подчиняйся — не подчиняйся, а все ведь будет по-старому, по-кустовски... Вон в управлении: стоило Кустову заявить, будто неопытный зоотехник запутал отчетность, как ему сразу поверили на слово. И к Морозову идти бесполезно, один разговор на эту тему с ним уже был. В райком съездить? Кто ему там поверит, раз Кустов — член бюро? — Да и побаивался Николай ехать в райком. — Нет, надо все рассказать Любе и уговорить ее покинуть Ременье вместе. Ничего, и на частной квартире проживут, тем более что барахла накопить не успели, все пожитки на одной машине увезти можно. Заявление, если добровольно подать, Кустов с радостью подпишет, ему к нарушениям не привыкать. Только бы уговорить Любу...»

Чапай наконец показался в дверях, недовольно приблизился к машине.

— Ну дак чего опять?

— Садись, в Федоровскую поедем. С автопоем там неладно.

— Вечор-то не мог сказать? Я вон аппараты чистить собрался.

— Вчера сам не знал. А сегодня — приказано.

— Приказано... На приказы все ушлые. Приказывают, и то не сообразят, что всю семейную жизнь человеку под корень режут. У меня, может, сегодня референдум назначен.

— Чего-чего? — не понял Николай.

— Обыкновенно. Референдум. Насчет будущей семейной жизни.

— Завтра проведешь. Коммюнике опубликуешь в стенгазете, — бросил Николай, даже не улыбнувшись.

Дорогой Чапай по-прежнему пытался балагурить,

закидывал удочку насчет того, что, хотя в Федоровской закон тоже до одиннадцати не позволяет, но можно найти ход к знакомой продавщице Дашке. Однако мрачный вид упорно молчавшего зоотехника подействовал и на него: постепенно Валентин стих, сделал вид, что дремлет.

...Над Федоровской гремел утробный рев непоеной скотины. У старого колодца с почерневшим срубом горбились Барабашкин и пенсионер Федор Красиков.

— Здравствуйте, — сухо бросил Мокрецов, вылезая из машины. — Что у вас стряслось?

— Вода не идет дак, — уныло ответил Барабашкин.

— Не поены телята?

— Да, конечно, не поены. Чем поить-то? Нечем поить! — скороговоркой ответил Барабашкин. — Поилки, вишь, изломались, а и ведрами не почерпнешь, бревно мешает.

— А на реку не догадались сгонять?

— Да Кустов наказывал: не гоняйте зазря, кормите от пуза.

— Не пудри хоть ты-то мне мозги, Барабашкин! Скажи телятницам, пусть гонят стадо на реку.

Подбежал успевший побывать на телятнике Чапай.

— Да все у них в исправности! Фильтр, поди-ко, забило внизу, в колодце. Трубу поднимем, почистим да и кранты.

— Да не вызнять трубу-то, — возразил бригадир. — Придавило бревном ли, чем ли...

— Слазать надо, поглядеть, — не отступался механик.

— Задавит! — испугался Барабашкин.

— Рисковое дело! — подтвердил Федор. — Вишь, сруб-то...

— А! — махнул рукой Чапай. — Волоки веревку!

— Сейчас, сейчас! — Барабашкин торопливо скрылся в телятнике.

— Слушай, Федор, — спросил Николай у Красикова. — Вам Кустов давал распоряжение копать новый колодец?

— Не слыхал, — покачал головой Федор. — Кому рыть-то? Полтора мужика в деревне: я да Барабашкин. Разве что вы с Чапаем лопаты возьмете. Сруб тоже надо рубить новый — не на день работа.

Вернулся бригадир с длинной толстой веревкой. Ва-

лентин сделал надежную петлю, обвязался, перекинул ноги через край сруба.

— Отпускай помалу!

Все трое взяли за веревку.

— Ой, зря... — вырвалось у Барабашкина.

— Не каркай! — сурово остановил его Федор.

Веревка опускалась долго, потом ослабла. Мокрецов попытался заглянуть в колодец, но наверху сияло солнце, а внизу, в колодце, сгущалась тень, и виден был только смутный силуэт Чапая, да доносилось хлюпанье воды.

Ожидание становилось все тягостнее, гнилой сруб, казалось, рухнет, осыплется вниз с секунды на секунду. Когда ждать стало совсем неведомо, веревка слабо дернулась три раза, и ее дружно потащили наверх. Вскоре над срубом показалась голова Чапая, лицо его, довольное, было перемазано грязью, глаза горели озорным диковатым огнем.

— Шланг бревном придавило, — пояснил он, выбравшись из колодца и очищая с одежды липкую грязь. — А фильтр забуровило — еле вычистил. Зато воды навалом, сейчас подам. Бутылка с тебя, Барабашкин!

— Да я что, я не постою, — ответил бригадир, опасно косясь на Мокрецова.

Застучал движок, вода полилась по трубам. Голодный рев скотины, как по команде, смолк. Первая удача ободрила зоотехника, и он вдруг подумал, что надо еще раз поговорить с Кустовым, найти какое-нибудь взаимоприемлемое решение.

— Тебе председатель тоже ничего не говорил про новый колодец? — спросил он Барабашкина.

— Ничего... — удивился тот. — Коли новый ему прищичило, дак пускай строительную бригаду пошлет.

— Да-а, — покачал головой Николай. — Ладно, начнем телят взвешивать.

Работа затянулась надолго, в Раменье Мокрецов вернулся только к вечеру, голодный, усталый и злой.

— Тебя куда подвезти? — буркнул он, не глядя на механика.

— А давай тоже в контору. Давненько Кустова не видел. Он, бедолага, без меня весь, поди, исстрадался...

Кустов доверительно беседовал с Морозовым, однако сразу замолчал при виде Мокрецова.

— Что скоро?

— Колодец отремонтировали, телят взвесили, — доложил Николай.

— Я тебя не ремонтировать посылал, а новый делать. Отремонтировали они... на два дня. Так все и станем дыры латать, на старые заплатки новые ставить?

— Новый делать — надо строителей посылать, не меня! — тоже задиристо ответил Мокрецов, у которого мгновенно пропало всякое желание «наводить мосты».

— А у вас с Чапаем, само собой, кишка тонка? Топора в руках не держали.

— Не мы с Чапаем бригаду до ручки довели. Нечего нам и отдуваться.

— Видел критика? — кивнул на Мокрецова председатель, обращаясь к Морозову. — Я, мол, чистенький, это Кустов все дело запустил, так пусть сам теперь и лезет в любую дыру, а наша хата с краю! Пальчиком для колхоза не шевельну! Ну, я тебя научу работать! Влеплю вот прямо сейчас выговор за невыполнение приказа, и будь здоров!

— Валяйте! Хоть три! Не заплачу! Тоже мне... демократ!

— Николай, Николай, успокойся, что ты? — вмешался Морозов, но зоотехник, не слушая его, уже быстро шагнул к выходу.

Он сунулся в свой кабинет и, увидев там бесцельно слоняющегося механика, взвинченно предложил:

— А кончай, Чапай, грязное дело, пошли водку пить!

— Абсолютно верная мысль, Михалыч. И я только что об том подумал. Имеем право. Работы мы с тобой провернули воз и маленькую тележку. Это одно, а второе то...

— Давай, давай! — заторопил Мокрецов.

Пересекая наискось деревенскую улицу, Николай очень хотел, чтобы Кустов из своего окна увидел, как он направляется к сельповскому магазину, и понял бы, что Мокрецов его ни капельки не боится, плюет на все его приказы и выговоры.

— Где освоим-то? — спросил Валентин, когда бутылки отяжелели карманы.

— У меня, — без раздумий сказал Мокрецов.

— А жена?

— Нет ее. На озеро в поход собрались, с ночевкой.
— Ладно, если так. Чего вы с Кустовым-то не поделили?

— Дома расскажу.

И когда, между стопками, Николай выложил все свои обиды Чапаю, тот долго крутил головой на длинной шее, то и дело приговаривая:

— Да уж... Коли Кустову шлея под хвост попадет, так уж да... Это одно, а второе то...

Они сидели за полночь, пели невеселые песни и даже, кажется целовались. Под утро Мокрецов, вконец окосевший, не раздеваясь, упал возле дивана.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Люба вернулась домой, когда солнце выкатилось в безоблачное небо, особенно высокое от тонкого октябрьского холода. Усталость давила плечи, сковывала ноги, к ней примешалось беспокойство за сына.

Отворив дверь в комнату, она остановилась пораженная. На грязном полу возле дивана недвижимо лежал Мокрецов — в сапогах, в натянутом на голову пиджаке. Холод не выветрил из комнаты резкого табачного и еще какого-то отвратительного запаха. На столе в беспорядке валялись объедки, окурки, осколки разбитого стакана.

«Убили!» — в ужасе подумала Люба, глядя на распростертое тело мужа. Она лихорадочно скинула рюкзак, нагнулась над Мокрецовым, с усилием перевернула его на спину. Он всхрапнул и непроизвольно дернул ногой.

«Пьян. В стельку».

Люба опустилась на стул, с минуту бессмысленно смотрела на одутловатое, в черной щетине лицо Николая. Потом устало поднялась, вышла на крыльцо и тотчас забыла, зачем. Хотела отправиться к Тюрехе за Ванюшкой и снова передумала. Вернулась в комнату, остатками щепок растопила плиту, смахнула объедки со стола в мусорное ведро.

Щепки прогорели, в комнате немного потеплело. Она прикрыла печную задвижку, сунула под голову Мокрецова его старое пальто и, постояв у стола в ка-

ком-то глухом оцепенении, как была, в сапогах и фуфайке, пошла к Тюрехе.

Ванюшка играл на полу, перекатывался по толстому ватному одеялу. Узнав мать, он проворно пополз к ней, не выпуская из рук ярко раскрашенного попугая. Тюреха в очках, отчего лицо ее казалось необычайно строгим, вязала миниатюрный носочек из собственно-ручно напряденной шерсти.

— Мы уж туток с Ваней горюем: не завел бы лесовик окайнной не в то место. Во мху у нас сколь людей загинуло — страсть! Разболокайся, чаю похлебаешь.

— Спасибо, бабуля, не до чаю мне. Можно, я посплю у тебя? Всю ночь глаз не сомкнула.

— Дак непошто и выдумали брестн в экую суземь. Ложись скорая, ужо я кровать-то раскину...

Люба разделась, присела на одеяло, подхватила сына на руки.

— Соскучился, маленький!

Она положила Ванюшку к стене, сама улеглась с краю. Сын тянулся к ней, сладко хватал за грудь пухлыми ручонками. Сна не было, хотя всего пять минут назад, кажется, все бы отдала, лишь бы коснуться головой подушки и забыться.

Ванюшка повозился и затих, засыпая. «Боже, отчего я такая дура! — с горьким сожалением подумала Люба. — Почему совсем ни на крошку не приспособлена к жизни? Какие только напасти не валятся на мою голову. Смерть мамы... Любовь — девчоночья, глупая... Школа, в которой ничего не знаю, ничего не умею... А тут еще и это... За что? — Люба круто мотнула головой, и горячая слеза скатилась со щеки на подушку. — А собственно, чего я разнюнилась? Что случилось-то? Напился? Пьяный проспится... Человек он неплохой. Разве не возится целыми вечерами с Ванюшкой, пока я корплю над тетрадками? Не алкоголик, не лицемер, не подлец... Добрый человек. А что? Пожалуй, и впрямь добрый, только чересчур мягкий... Хватит! Спать, спать...»

Ее разбудила Тюреха.

— Вставай-ко, Любушка, чайку попьем, пироги у меня испеклись, дак пока горячие-то.

Было уже за полдень.

— Твой-то барбос вечор вино ждрал с Чапаетом, — до-

ложила Тюреха, когда сели за стол. — Обрадел, знать, без женки-то, никто не забранит, давай скоряя! Ты ему, Любушка, не поддавайся больно-то.

— Я все, бабушка, спросить забываю, отчего у тебя прозвище такое... необычное? — торопливо перебила Люба, стремясь перевести разговор на другое, ей не хотелось сейчас говорить о муже.

— Тюреха-то? Худо больно жила, милая. По чужим все по людям тюрю хлебала с луком, вот и стала Тюреха. По нынешним временам я как вроде обсевок. Пензии нету, родня примерла вся. Ладно, огородишко Митя-покойничек оставил, царство ему небесное, да домишко, какой ни на есть. Сусидям чего-нито пособишь... Так и перебиваюсь всю жизнь.

— А детей у тебя не было?

— Как, милая, не было! Был парнишечко, вроде твоего, Ваней тоже и звали. В девках-то я не последняя была, мухи на мне подолгу не сидели. Вот и выглядел меня парень из Олеховской, Семен Калистратов. Семья у их большая была, добро жили. Ты бери пирога-то, ломай, не жмись, для тебя и напекла!

Угощаясь бабушкиным пирогом, Люба с интересом слушала ее рассказ.

— Да... Отец, свекор-то мой предбудущий, все Семена жениться торопил, а неволить — особо не неволил. Ищи, говорит, девку сам, лишь бы работающая была. Семен меня-то и выбрал. Да и мне поглянулся: парень крепкой, веселой, ласковой. Сыграли свадьбу — я ног под собой не чую, довольна. Все-то мне в Семушке любо, как в углу соткнемся, так и давай целоваться.

Наше дело бабье, в скорости и понесла. Сказала Семену, а он уж так обрадел, так обрадел! То погладит меня, то поцелует... Ой, господи! — Бабка смахнула слезинку. — А ить раньше, Любушка, знамо дело, которая невестка больше ломит, та и любяя. Да и то сказать, не в колхозе, работать надо было. Рожать мне в сенокос пришло. Сема со свекром да с деверьями на озеро утянулись: там у их гладушка была расчищена, чистенье. А мы, бабы, недалеко от деревни пластались. Далеко-то и не уйдешь: скотину не кинешь, надо обрядиться. Дак я, Любушка, чуть у копны не опросталась, только-только до дому доползла. Свекруха чугуна воды согрела да сама и приняла Ванюшу-то мово...

Полежала я, поди, денька два, а уж по избе ворко-

ток: дело стоит, вот-вот дождина свалится, а сено в копнах. Встала я на третий день да и пошла с младшим деверем стог метать. Кидала-кидала — разгорячилась. Робота меня век горячила, что лошадь хорошую: все надо поболе да поскорая. Подняла ношу — ан не под силу: внутрях вроде как оторвалось чего. Свалилась я тут без памяти. Дак три дни без памяти-то и вылежала! Титьки камнем взялись, молоко пропало, а Ваня криком кричит... Покричал, покричал, бедолага, да и затих...

Семен-от, как узнал, прискакал на лошаде. Встал у постели моей на коленки. «Ой, — говорит, — Катя, чево ты наделала! Будь я дома, дак близко бы к вилам не подпустил, пропади пропадом все и сено». А я его то вижу, то как в воду провалюсь... Оклемалась-таки, да счастье-то уж боком к нам повернулось. Семушку в армию забрали, отправили в Туркестан. Поехал-то — дак все наказывал: «Покажись, Катерина, доктору, как бы чего худого от болезни твоей не приключилось». Пообещала ему, стала деньги копить. К зиме у свекра выпросилась, поехала. Чево только не нагляделась, дура деревенская!

В городе больницу целый день искала. Доктор — старичок совсем, а с виду сердитой. Орет на меня: «Чево не раздеваешься, не на смотрины пришла!» А мне ить совестно, хоть и старик. Поглядел он меня, да и говорит эдак, с сердцем: «Ты, — говорит, — Катерина, — круглая дура. После родов на который день работать стала? На второй?» — «На третий...» — шепчу. «На третий, на третий! Бить вас некому! Ты знаешь, — говорит, — чево наделала-то? Детей больше не жди, не будет. Моли бога, что сама жива осталась».

Как домой попадала, дак и не помню. Свекру не рассказываю, а сама редку ночь подушку слезами не обмочу. Думаю: воротится Сема, станет ли с порченной бабой жить? А ну как прогонит? Да ладно и сделает — какой прок от меня?

Тут новое горе: бумага пришла, что пал Сема смертью храбрых, защищая революцию, от руки басмачей. Лучше бы жернов на шею, чем экая бумага. Почернела я вся с лица. А в скором времени неженатый деверь по углам подкарауливать стал. Одинова собралась я, да и пошла, в чем была, за деревню, на большую дорогу. Свет велик, смекаю, авось и я найду где голову при-

клонить. Попала в другую волость, стала жить в няньках. И скажи, Любушка, чево содеялось: привязалась я к робетешкам без памяти. Забудусь, дак все и кажет, что с Ваней своим, с покойничком, играю. Одно худо: в каку семью ни попаду, везде мужики ко мне липнут. А до баловства ли мне с горем-то с эдаким! В строгости себя держала: чуть чево — прошу расчет. Так оне, кобели окайнные, надоели, до седни не люблю!

— И замуж больше не выходили? — улыбнулась Люба.

— То-то и есть, что выхаживала! — засмеялась Тюриха. — В няньках сколь годов прожила, в колхозах робатывала — и все на разных местах да в разных сельсоветах. Пять десятков уж стукнуло, на шестой завернуло, мне бабы и присоветовали: выходи, Катерина, взамуж! Устареешь скоро, пензии тебе не выйдет, раз в няньках все, дак хоть на старости лет в своем домике поцарствуешь. Так я в Раменье-то и попала. Присватался старичок здешний, Митя-плотник — с им в войну еще в одном колхозе робатывали, дак знал меня. Вот пять годов с ним и проканителилась. Помер, царство небесное, а домик мне отказал. Опять одна осталась, опять все по нянькам да по сусидям. Устарела совсем, хоть бы бог прибрал поскорая...

— Полно, бабушка! Ты еще молодых моложе!

— Какое уж, девка, моложе! Была молода, да повернула не туда...

Негромко стукнула дверь, пропустив Мокрецова. Он потоптался у порога, стыдливо пряча глаза, еле выдвинулся:

— Здравствуйте...

— Здравствуй, здравствуй. Проходи да хвастай! — ядовито подкинула бабка.

— Нечем хвастать-то... — уныло сказал Николай, пристраиваясь на краешек лавки.

— То-то и оно! Двери у тебя в избе инеем обметает, парнишечко искашлялся весь, а ты винище дуешь, барбос! Ох, мужики, мужики! За горесть, за пропастину чем платите! Не деньгами платите, долю свою на прилавок кидаете! Да другой бы славутницу экую на руках носил, а ты вишь чего удумал...

— Ты за нами? — спросила Люба, спасая мужа от бабкиного натиска.

— Я печку там истопил, — просительно сказал Николай. — Ужин готов.

— А меня бабушка пирогами накормила. Ну ладно, пора и домой.

Хотя Люба не высказала Николаю ни одного укора, их весь вечер разделяла стена неловкости, недосказанности. Мокрецов несколько раз пытался завести разговор о причинах вчерашней выпивки, но Люба только отмахивалась, страдальчески морщась, наконец, довольно резко заявила:

— Коля, не надо объяснений. Только чтоб это было первый и последний раз.

— Больше не будет! — с готовностью согласился он. За ужином Люба спросила:

— А что с Кустовым? Обошлось?

— Дела неважные, — ответил Николай и подробно рассказал о своей стычке с председателем.

— Теперь мне в Раменье жизни не будет, это точно, — уныло заключил он. — Придется нам с тобой, Любушка, скоро в дорогу собираться...

— Как в дорогу? — испугалась жена. — Куда?

— Вот и давай соображать — куда. Можно к моим родителям вернуться, на крайний случай. Потеснимся в однокомнатной, ничего... Или съезжу в район, подыщу работу в другом колхозе, а потом вас перевезу.

— Конечно, варианты — лучше не надо! А обо мне ты подумал? Кто меня из школы отпустит в начале учебного года, сообразил? Где Воронина замену сейчас найдет? Нет-нет, об отъезде и думать нечего.

— Но ведь я-то бросаю все! По-моему, жечь мосты — так без оглядки, верно?

— Я бы не сказала, что верно. Давай прикинем, может, другой выход есть?

— А если нет?

— Тогда один пока уезжай. Квартиру колхозу вернем, я до лета снова у бабушки поживу, а там видно будет...

— Ну нет! Это уж... Хуже некуда! И не думай! Уезжать — так втроем, а и оставаться — так вместе.

— Может, тебе работу сменить? Давай я с Варварой поговорю. В школе тебя пристроит пока...

— Зоотехника — в школу? Ну ты даешь, Любушка!

Работу сменить... Жить-то где станем? Кустов сразу квартиру отберет.

Так ни до чего и не договорились.

В понедельник на доске объявлений в коридоре колхозной конторы Мокрецов прочитал отпечатанный на машинке приказ:

«За невыполнение распоряжения председателя колхоза и пьянку в рабочее время зоотехнику колхоза Мокрецову Н. М. объявить строгий выговор с предупреждением. Механику Раменской фермы Лунину В. А. объявить выговор».

«Началось!» — подумал Николай, холодея. Сидеть в такой день в конторе было выше его сил. Предупредив секретаршу, что будет в телятнике, он тотчас ушел. На душе скребли кошки. Сегодня не спасало даже сознание собственной правоты, потому что субботняя выпивка с Чапаем как бы перечеркивала эту правоту.

Мокрецов пробыл на телятнике до обеда, задержался у раменских доярок, помог Чапаю отрегулировать кормозапарник. Механик встретил весть о выговоре весело.

— Выговор, Михалыч, это даже очень добро. Вроде медали. Раньше-то выговора один Кустов получал, а теперь, вишь, и у нас есть — не все ему заноситься! Выговор — полбеда! Вот ежели бы на вид поставили, тогда бы, брат, хуже. Каждый пальцем укажет: у того, мол, дурака, виду не хватает. А выговор еще более виду придает, так что не тужи, Михалыч!

Избежать встречи с председателем все же не удалось. Кустов вызвал его сам, а когда Мокрецов появился в кабинете, принял внешне дружелюбно:

— Что, нагулялся? Садись. Мы тут посоветовались в правлении насчет тебя. Вывод такой: рановато тебе доверили должность главного зоотехника. Кое-кто предлагал уволить тебя за пьянку, ну все-таки решили оставить, только перевести на другую работу. Принимай Раменскую ферму, будешь там заведующим. Клавдия Костровой трудновато управляться, а с тебя спросить можно. И спросим на полную катушку, не сомневайся!

Обида исказила лицо Николая. Заменить малограмотную Клавдию — доработался! Стоило получать диплом с отличием! Целых шесть подчиненных дают под начало: пять доярок и Чапая впридачу!

— Может, заодно и группу коров дадите? — дрожащим голосом выдавил он.

— Не справишься с обязанностями — дадим и группу. Доярок у нас не хватает, — спокойно ответил председатель.

— Целый год справлялся, хвалили, а теперь, выходит, не справляюсь?

— Выходит так. Ну, спорить мне с тобой некогда, решение принято. Подчиняться или не подчиняться правлению — твоя воля. А за неподчинение сам знаешь, что бывает.

Когда первая волна гнева схлынула, Николай вдруг почувствовал облегчение. Конечно, такое перемещение — унижение, зато, уйдя из конторы, избавится он наконец от кустовских махинаций и придилок. Останется за ним и квартира, а значит, гроза, надвигавшаяся на его семейную жизнь, пройдет стороной.

Однако обида нахлынула в сто раз сильнее, когда сдавал дела. Ушел на пенсию техник по искусственному осеменению скота, надо подбирать нового, а где его возьмешь? Поставят, лишь бы отделаться — загубят все дело, и ничего не скажешь, не проследишь. Хотел в виде опыта организовать двухсменку на Щепинской ферме — и с этим придется распрощаться. Коров начали выбраковывать, стадо обновлять — наобновляют! Лишь бы галочку поставить.

Домой Николай явился мрачнее тучи.

— Опять что-то стряслось? — обеспокоенно спросила Люба.

— Стряслось... Буду на днях у своей бывшей хозяйки дела принимать.

— Как так?

— Да уж так... Назначен заведующим Раменской фермой.

— Еще того не легче! — Люба опустила голову, но вдруг сказала то же, о чем подумал Николай в председательском кабинете. — Вообще-то не расстраивайся! Хоть от Кустова уйдешь, не будет к каждому пустяку цепляться.

— Зарплата там на полсотни меньше...

— Ну, это не самая большая беда. Нервы дороже.

— Вот... Буду командовать пятью доярками да Чапаям. Так сказать, агрогород в миниатюре. Домечтался Мокрецов!

— Полно, Коля! Не завтра жизнь кончается. И Кустов не вечный. Будут когда-нибудь в Раменье перемены.

— Когда-нибудь... Эх, Любушка! Сидеть у моря ждать погоды — невелика радость. Я ведь большими делами мечтал заправлять! А теперь что? Водку пить с Чапая в кормозапарнике? Обидно, что из-за пустяка все, из-за кустовского каприза, из-за того, что на поводу не пошел, как телок. Подумаешь — выть хочется!

— Брось, не расстраивайся! — Люба подошла к нему, обняла. — Честным ты остался — разве этого мало?

— И просидим мы с нашей честностью весь век у разбитого корыта. Мне хотелось, чтобы ты не маялась с печами да со стиркой, не таскала бы каждый день помой во двор...

— А я работы не боюсь, Коля! С детства не боюсь. Если что и страшно, так нечистота душевная, озлобление, обман. Избежал ты всего этого — и прекрасно! Вон у бабушки Тюрихи на что уж судьба тяжелая, да сохранила она чистоту душевную — и счастлива! Кончай, кончай хандрить, пошли ужинать лучше.

— Солнышко мое! Спасибо на добром слове. Только рано честным-то себя называть. По сути, чем все кончилось? Тем, что руки умыл, в сторонку отошел? Без меня Кузов еще больше будет ловчить, на все мои замыслы крест поставит...

— Ничего! Сколько веревочке не виться...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Чаше и чаще приходило Нине в голову, что в Раменье она стала лишней, что самый лучший выход — уехать на стройку либо в техническое училище. Уроки, заданные на дом, потеряли всякий интерес. Приходя из школы, она небрежно бросала портфель, наскоро переодевалась, обедала, не чувствуя вкуса, и валилась на кровать с книгой. Даже картошку в своем огороде не выходила копать, предоставив все труды по хозяйству матери и мстительно наблюдая, как та крутится, словно белка в колесе.

С тревогой вглядывалась Нина в знакомые лица раменцев, опасаясь встретить насмешку или жалость, но лица вроде бы были обычными, и девушка на не-

которое время успокаивалась. Потом боль и подозрения возвращались с новой силой.

Измученная, она, наконец, бесповоротно решила уехать в город, но не было документов и денег. То и другое предстояло достать, не привлекая внимания матери, для которой ее отъезд должен был стать внезапным и оскорбительным, как пощечина. Нина заранее упивалась, представляя ту боль, которую принесет матери их разрыв. «Пожалеет, небось, что с хорьком вонючим спуталась! Пожалее, да поздно будет! Пиши письма, мамочка!»

Училась Нина теперь через пень-колоду, хотя и ходила в школу регулярно. Наступил ноябрь, но снег еще не выпал, а осенние дожди лились все чаще и обильнее.

В один из таких дождливых дней Нина наотрез отказалась остаться после уроков на репетицию школьного хора. Она бесцельно брела под дождем, приближаясь уже к околице, когда дорогу загородил Петька Сакин.

— Куда направилась?

— На кудыкину гору.

— Смени маршрут! Хочешь наших дорогих родителей застукать? Могу проводить. Мы ведь с тобой теперь вроде как брат и сестра.

Нина спрятала вспыхнувшее лицо в ладони и бросилась, спотыкаясь, обратно в деревню. А Петька, вдруг ощутивший острое чувство жалости, еще долго стоял на месте, растерянно глядя вслед Нине и понимая, что ей сейчас очень и очень плохо.

Дома Нина, не раздеваясь, рухнула на кровать и уткнулась мокрым лицом в подушку. Чудилось ей, будто в каждом доме, за каждым углом насмешливо перемалывают языками всю грязь, в которой барахталась мать и которая вольно или невольно прилипала и к ней, к Нине.

Утром она не пошла в школу, грубо буркнув на вопрос матери, как часто бывало в последнее время:

— Не твое дело!

Пустовало место Нины за партой и на другой день. Люба, занятая школьными предпраздничными хлопотами, встревожилась. Вечером, забежав за хлебом, спросила у Насти:

— Что с Ниной? Заболела?

— Лежит... — неопределенно ответила продавщица.

— Фельдшера вызывали?

— Да что фельдшер! Вы бы сами заглянули к нам, Любовь Андреевна. Неладно у нас...

Она решила побывать у Осокиных завтра, но завтра было шестое ноября, девятиклассники дежурили на школьном вечере, и ей не удалось отлучиться ни на минуту. Седьмого Мокрецов затащил ее в гости к Лунину, а восьмого они сами принимали гостей: Чапая и бабушку Тюриху. Втайне Люба побаивалась, как бы Мокрецов снова не напился в праздники, и все эти хлопоты оттеснили мысли о Нине. Посетить больную она собралась только в конце осенних каникул.

К немалому удивлению учительницы, Нина вовсе не болела. Она сидела за столом в мягком свете лампочки под голубым абажуром: халат расстегнут, волосы растрепаны. Уткнувшись глазами в книгу, Нина небрежно щелкала семечки. По красному лицу Насти учительница поняла, что мать с дочерью вели перед ее приходом крупный разговор.

— А-а, воспитательница, — равнодушно протянула Нина. — В твоём полку прибыло, — обратилась она к матери. — Только меня избавьте! Хватит, навоспитывали! Обменивайтесь опытом сами.

Она отшвырнула книгу и через минуту застучала каблучками в прихожей.

— Бесстыжая! — крикнула вдогонку Настя.

— От таковской слышу!

Хлопнула дверь.

Люба недоуменно потерла лоб рукой. Полно, да Нина ли это?

— Вы разденьтесь, — предложила Настя. — Чайку выпьете.

Дома ее ждали ужинать, но уйти сейчас Люба просто не могла и огорченно подумала, что семейный вечер снова будет испорчен. Она слегка вздохнула и расстегнула пальто.

За чаем спросила:

— Она давно так? Грубит и прочее...

— Я тут, одна я виновата! — бессильно опустив руки на стол, сказала Настя. — Девка-то золотая, да вишь ты, нашла коса на камень. Себя-то теперь клянусь: согласилась, дура, на экую работу! Сидела бы счетоводом-то в конторе — так нет, не сиделось. Пристал Сакин как с ножом к горлу: принимай склад с магазином,

торговать некому. Подумала — зарплата поболее, премия когда перепадет. Дефицит опять же в своих руках, а тут дочь подросла, одевать надо. Вот и решилась. И пошло, и поехало... Затянул он меня в петлю, мошенник! То ему цены завышай, то неучтенный товар продай, то фальшивую накладную подпиши. Оглянуться не успела — растрата! А дальше — больше. Теперь вон грозит: не станешь со мной жить — посажу! Ой, Любовь Андреевна! — горестно всхлипнула Настя, прижимая платок к лицу. — Сама-то пропала, так туда бы и дорога! Дочке-то, кровиночке-то своей, всю жизнь изгадила!

— Вы успокойтесь, — страдальчески морщась, мягко сказала Люба.

Всхлипывая и сморкаясь, Настя, будто на исповеди, в подробностях выложила учительнице историю своего падения.

— Не знаю, что и делать, Любовь Андреевна, не знаю, — заключила она, вытирая красные веки кончиком платка. — Нинка вон отрезала: уезжаю, мол, на стройку, не стану больше позор терпеть. Покричала я тут на нее, а сама соображаю: может и верно, уехать девке? Неглупая, вечернюю кончит, и дальше не заказано — была бы охота. Никто там не осудит, никто не попрекнет. А мне уж один конец. Продам корову, дом, барахлишко. Авось расплачусь, а нет, так и сяду. Заслужила. Вы-то как скажете?

— Душу! Душу-то как вы себе изломали, Настя! Да и Нина. Ведь страшно подумать, что она пережила! Уходите с работы, немедленно уходите! Продайте все, выведите Сакина на чистую воду, и тогда снова почувствуете себя человеком. И Нина снова полюбит вас. Только так!

Опустошенная своей вспышкой, тихо добавила:

— Пора мне... Извините.

Поднялась устало, словно долгие часы несла тяжелую ношу по ухабистой и трудной дороге.

Утром расстроенная Люба не прикоснулась к еде. Завернув сына в одеяло, понесла его к Тюрихе, хотя еще вчера собиралась провести последние дни каникул дома. Теперь же, после Настиной исповеди, казалось немыслимым сидеть, ничего не предпринимая. А что предпринять, она еще и сама не знала.

Бабка лежала, обвязав голову мокрым полотенцем.

— Заболела, бабушка?! — испугалась Люба.

— Ой, Любушка, да коли ума-то нет, дак не приба-вишь. Этта у вас-то посидела да ишо лешей понес к старухам. До чего ведь допилась — до пляски! Верно-верно! Поплясала, растрясла кости, дак другой день и кувыркаюсь. Ноне лучше стало, а вечер думала зажмет. Себя-то избранила: гли-ко, говорю, дура старая, до чего допилась!

— Давай таблетку принесу?

— Ну их, одна горесть! Я вот ужо чайку попью, все и пройдет. Твой-то как? Ничего? Ну и слава богу. Не давай ему потачки: худо, как мужик пьяница.

— А я Ванюшку хотела ненадолго оставить, пока по делам хожу. Да, видно, отложить придется все дела...

— Пошто — отложить? — бабка, кряхтя, села на кровати. — Давай сюды парня. Экой смиренной да пригожей, да и ко мне привык. Полежит, поди с богом!

— Сейчас, самовар только поставлю. Чаю принесла индийского.

— Пошто деньги-то тратишь! Неуж у меня чаю нету? Давно ли отдала мне тридцать-то рублей!

— Полно, бабушка!

Разжигая самовар, Люба, будто невзначай, спросила, что говорят в деревне о Насте.

— Много чего плетут. Сакин, змеиная головушка, кого хошь опутает. Настя-то, бают, и не виновата.

Люба вместе с бабкой напилась чаю. Из окошка Тюрихи дверь сельповского магазина была как на ладони, и только она распахнулась, учительница направилась знакомой тропинкой к дому Осокиных. Она рассчитала точно: проведив мать, Нина была дома. Поздоровалась она хмуро, неприветливо, вопросительно уставилась на гостью.

— Хочу потолковать с тобой, Нина.

— О чем толковать? Не о чем.

— Это ты так думаешь, что не о чем. А я хотела рассказать тебе о твоей матери. Правду рассказать.

— Не нуждаюсь я в вашей правде. Своей обойдусь.

— Ты хоть бы сесть меня пригласила, что ли.

— Садитесь, не жалко.

— Значит, школу бросить решила?

— Да.

— Почему?

— Моя забота.

— Не только, Нина, — вздохнула учительница. — Знаешь, когда у меня мама умерла, я утопиться хотела. Тоже считала: моя беда никого больше не касается. Родителей нет, родственники далеко. А остальным — что до меня остальным! Но оказалось, и я кому-то нужна. Подругам своим. Преподавателям. Соседям. Школьникам, которых выучить не успела. Живем с людьми — так и мы людям и люди нам нужны. Хочешь не хочешь, а приходится с их мнением считаться. Я тебе сейчас одну неприятную вещь скажу, но ты потерпи, выслушай, а уж потом будешь судить, как совесть подскажет. Так вот, раньше мне казалось, будто я тебя знаю. Я и вообразить тогда не могла, что ты такая жестокая себялюбка.

— Ну уж, прямо! — усмехнулась Нина.

— Да, да! — убежденно подтвердила Люба. — Только эгоистка могла вообразить, будто ее собственная мать, которая отдала ей пятнадцать лет своей молодости, вдруг махнула на нее рукой и пустилась во все тяжкие. Ты знаешь, какая зарплата у твоей матери?

Нина молчала.

— А сколько стоит твоё пальто с норкой, знаешь? А платья, туфли, сапожки — они что, с неба упали?

— Выходит, я виновата? Для меня она таким способом подрабатывает? — язвительно спросила Нина, но в голосе ее зазвенели слезы. — Да я бы лучше босая стала ходить! В фуфайке!

— Я твою мать не оправдываю. Но подумай и ты, прежде чем осудить ее бесспоротно. Она — слабый человек, верно. Но, во-первых, она ничего не подрабатывает, как ты изволила выразиться. Просто у нее большая растрата, и ее запугали, а теперь шантажируют, принуждают к нехорошим делам. Она и так места себе не находит, а ты каждый день бросаешься на нее волчицей; да еще грозишься бросить самого близкого человека в беде.

Нина стояла растерянная, бледная, словно печь, к которой она прислонилась. Только теперь с ее глаз будто упала пелена.

— Не верю... — произнесла она срывающимся голосом. — А как же...

— Осудить — проще всего. Ты помочь сумей. Подумай сама, что лучше сделать. А мой совет: помирись

с матерью и добейся, чтобы она уволилась. Сейчас, может быть, растрату еще можно погасить. Но если так пойдет дальше...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Дожди вчистую исхлестали Раменье. Хорошо хоть в начале октября постояла погода, дала убрать с полей остатки урожая и даже заскирдовать всю солому. Теперь начинались зимние заботы: ремонт техники, доставка кормов к фермам, заготовка и вывозка леса под будущие стройки.

Затяжная непогода подвела Раменскую ферму: пять стожков сена, привезенных по хорошей погоде, быстро таяли, а к новым по раскисшим лугам невозможно было добраться. Волей-неволей урезали рацион коровам, и они тут же сбавили молоко. Около десятка стельных коров Мокрецов распорядился поставить на запуск и, подбивая сводку с пятого по десятое ноября, ужаснулся: надой от каждой коровы по сравнению с этой же пятидневкой прошлого года уменьшился на двенадцать килограммов.

Николай собрался идти в контору и просить у Кустова добавки в рацион комбикормов, но председатель опередил его: сам появился на ферме вместе с бригадиром Телицыным.

Издали заметив начальство, Мокрецов обругал Чапая, который шлялся по ферме под хмельком:

— Бахусник чертов! Сматывайся куда-нибудь, чтобы твоим духом не пахло! Скажу, что в мастерские ушел втулку к транспортеру точить.

— Это одно, а второе то, что мне и взаправду в мастерскую-то надо. Добро, смоюсь от греха! — и Чапай журавлиным шагом поспешил удалиться.

Кустов был не в духе.

— Все спускаешь надой? — резко спросил он Мокрецова.

— А что сделаешь? Сена урезали, концентратов нет. Сколько раз просил Телицына сена привезти...

— Сами с Чапаем не маленькие, взяли бы да и съездили. Во всем-то тебе нянька нужна! — Кустов стремительно прошел по двору. — Голодом моришь коров?

— Почти что. Тракторишко за фермой закрепили самый никудышный: больше стоит, чем работает. На таком в распутицу много сена не навозишь!

— Во-во, я и говорю—во всяком пустяке нянька нужна.—Кустов опустился на грязную скамейку.— На сколько убавил надои в эту пятидневку?

— На двенадцать.

— На двенадцать!?!—ахнул Кустов.— Да ты сообщаем, что говоришь?

— Говорю, что есть.

Чувствовалось, что председатель еле сдерживает себя, но тем не менее он буркнул, не повышая голоса:

— Зови доярок, совещание проведем.

Зато дал себе волю, зайдя с Телицыным в красный угол:

— Каково! На двенадцать! А ты куда глядишь, бригадир?

— А правду парень-то говорит. Сколь раз уж пробовали за сеном-то проткнуться и с цепями и так—тонет техника. А комбикорма ты, Владимир Анатольевич, сам режешь Раменской ферме...

— Все у тебя правы, один Кустов виноват! Все за колхоз головы готовы положить, кроме председателя,—так что ли? А сами палец о палец не стукнете без приказа! Ладно, передай этому чистоплюю: пусть забирает сегодня две тонны концентратов. За сеном Семена Куликова отправь.

— Семен на ремонте.

— Новый трактор дай! По нынешней грязюке, кроме Семена, никто не проскочит. Такие бы все молодцы в колхозе-то были—полдела бы разворачиваться. А то понаехало тут... критиков. Помощи никакой, только фордыбачатся. Так будем хозяйствовать—последний народишко разбежится...

— Да и Мокрецов долго не наживет,—сказал Телицын.—Заел ты его, Анатольевич, не в обиду будь сказано.

— А... пусть! Об этом не заплачу. Чистоплюй, ручки бонятся замарать! А у нас дело грязное, мы все больше с навозом... Мы грязи не боимся, потому как к Раменью приросли и хребтом и пупом.

— Оно, ежели только грязью умываться, Анатольевич, дак такая и слава о нас поползет. А Колька Мокрецов... Дела ты ему в руки не дал, вот что! На вожжах

все. Я так смекаю, что нонече на вожжах далеко не ускачешь.

— Да ежели бы не на вожжах, он палец о палец не колонул бы! Ты вот мне скажи, бригадир... К примеру, завтра все доярки в Раменье слягут, коров будет подоить некому — сядешь под сиськи?

— Куда деваться? Сяду.

— А Мокрецов твой не сядет.

— Кто сказал, что не сядет? Может, еще скорей...

— Не-ет, брат, не сядет. Не мое, скажет, занятие. Тут, Телицын, все дело в корне. Твой корень из Раменья не выдернешь, а его корня в нашей земле не было, да и не отрасли. Он спит и видит, как бы в город податься с хорошей характеристикой. На выдвижение... Он ведь чего сюда приехал? Багаж себе заработать: вот, мол, все прошел с самого низового звена. А душа-то у него давно в областном управлении али в тресте. Не-ет, пусть катит, скатертью дорожка! Хоть бы и то взять: надои-то так ни разу не падали, а он что, пришел за комбикормами? И в ус не дует...

Кустов снова раскипятился, покраснел, хотел добавить еще что-то, но тут дверь открылась, пропуская одну за другой раменских доярок. Последним вошел Мокрецов.

— А Чапай где? — спросил Кустов.

— В мастерской, втулку к транспортеру точит.

— Стекланную? — насмешливо бросил председатель.

Анюта Марфина фыркнула от смеха.

— Ты вот, Анюта, похохатываешь, — продолжал Кустов. — А мне так не до смеха. Как же вы, бабоньки, дошли до жизни-то такой да еще во главе с зоотехником? Передовая ферма! Надои ниже всех по колхозу! Стыд и срам!

— А ты, Владимир Анатольевич, нас не срами! — отозвалась Клавдия Кострова. — По кормам и молоко. Давай сено да отруби, да картошки поболее — вот и будет молоко.

— Так, так, Клавдия Дмитриевна! Председатель, стало быть, виноват? Председатель, между прочим, вам начальника с высшим образованием поставил. Сколько раз он, начальник этот, ко мне за кормами приходил — не спрашивала? Так я тебе точно скажу: ни разу! Я, выходит, святым духом должен знать, что у вас на ферме творится?

— Зато у бригадира каждый день прошу, — вмешался Николай. — Его прямая обязанность ферму кормами обеспечивать.

— Вот-вот, ты вместо того, чтобы вкалывать, все обязанности делишь. Побольше на себя брать, побольше понял?!

— Да что вы на Николая напустились! — понесло вдруг Анюту Марфину. — Парень и так дошел от ваших придирок — одна тень осталась. Давно ли на ферме-то? А вы рады всех волков на него навешать! Вы у нас спросите, пожалимся ли на Колю?..

— Худо о парне не скажешь, — рассудительно поддержала ее Клавдия. — Ты бы, Анатолевич, помене орал-то на него, дак и он бы почаще к тебе в контору ходил. Кому охота идти брань-то слушать!

— Все на меня! — отмахнулся рукой Кустов. — Будет! Кончайте базар. Кормами помогу, но с уговором: через две недели чтобы надои подняли выше прошлых. Мне тоже за вас в райкоме краснеть неохота, — он резко повернулся к Телицыну. — Ты проверь-ка путем у них кормозапарник; тоже, поди, работает шалтай-болтай. Вы, бабоньки, давайте в молокоприемную, заканчивайте свои дела. А ты, — кивнул он Мокрецову, — останься, разговор есть.

Когда их оставили вдвоем, председатель, снова приняв свой недоступно-сосредоточенный вид, сказал:

— Предложение имеется. Тут бригада к нам едет из ПМК водопровод прокладывать. Еле добился, чтобы в этом году начали. Народ расселять надо. Так что одну комнату в твоей квартире на время придется уступить.

— Да вы что! — опешил Николай. — У меня жена молодая, ребенок! Комнаты смежные. Знаю я этих строителей из ПМК! Пьяницы горькие!

— Насчет питья ты и сам не промах. Людей разместить где-то надо?

— У меня тоже не общежитие.

— Ну, а куда?

— Какое мое дело, куда!

— Во-во, любимая твоя поговорочка: какое мое дело, моя хата с краю, я ничего не знаю! Потеснитесь, переживете! Не на век они едут, месяца на два, на три.

— Все несчастную сводку не можете мне забыть? Так уж лучше бы сразу уволили, чем таким макарком выживать, — с горечью сказал Мокрецов.

— Не в сводке дело, а в твоей позиции: моя, мол, хата с краю. А у нас в колхозе такой порядок: хочешь жить нормально, так и дело тебе до всего должно быть. Гостей принимать готовься, я своего слова не меняю.

— На порог не пущу!

— Вот когда собственный дом срубишь, забором огородишься, тогда и на порог не пускай, сам хозяин. А тут изволь слушать, чего говорят, пока совсем квартиру не отобрал. Ишь ты, свой гонор да покой ему дорожке колхозного водопровода! А водопровод, между прочим, и в твой дом будут проводить, Николай свет Михайлович! Чтобы твоя разлюбезная женушка по колодцам не шлялась. И все, все, никаких возражений!

— Да вон у Клавдии Костровой какие хоромы! Пусть бы жили!

— Клавдии тоже покой нужен, не с твое в колхозе работает. Пока!

Кустов вышел, туго прихлопнув дверь красного уголка, а Николай как стоял, прислонившись к стене, так и остался. Новая напасть была, пожалуй, похуже первых. Мысль о том, что вся его семейная жизнь пойдет теперь на глазах посторонних людей, никак не укладывалась в голове. Какую комнату им отдать? Маленькую? А самим спать в большой на диване, поставив рядом кровать? Он представил, как среди ночи выходят постояльцы во двор, проходят мимо дивана, и сразу отбросил это предположение. Самим остаться в маленькой, а строителям отдать большую? И Люба всякий раз будет проходить на кухню, как сквозь строй? Удружил председатель, чтоб ему пусто было...

Люба вконец расстроилась, узнав о распоряжении Кустова.

— Да что он, совсем свихнулся! — всплеснула она руками. — Где это видано: маленькую квартирку в общежитие превращать? Ведь у нас ребенок! И самим строителям покою не будет. И нам каково? Они тут станут водку пить, а я перед ними пеленки стирать да Ванюшку укладывать под пьяные песни?

— Хоть бы некуда было! — подхватил Николай. — Такие домики в деревне пустуют, несколько вообще брошенных, только доски отодрать — живи! А сколько места в домах у той же Ворониной, у Клавдии Костровой. Да и у самого Кустова полдома пустует — взял бы к себе! Ну, самодур!

— Неужели сознательно мстит?

— Конечно! Раз уж задался целью выжить меня из колхоза, так ни перед чем не отступит. «Я своего слова не меняю», — передразнил он председателя.

— Я, Коля, этого так не оставлю. А если дойдет до... квартирантов, в тот же день переселюсь к бабушке. Хоть бы женщины, так туда-сюда...

— Будет же тут у них кто-то старший. Поговорю с ним откровенно, должен понять...

— Какие люди! — все удивлялась Люба. — Ну и руководители в Раменье подобрались! Что Сакин, что Кустов — два сапога пара! Из-за одного целая семья гибнет, и другой не лучше...

— Из-за другого, Любушка, сейчас, может, весь колхоз страдает. Знаешь, сколько в «Заре Севера» всяких дыр да прорех? Не видно их за широкой кустовской спиной, умеет вывернуться, залатать, где криком взять, где связями, где авторитетом. А пошатнись он, все и поползет по швам. Не понимает, что время-то другое настало. А у него все по старинке: каждый отвечает за все. И это плодит безответственность.

— Но ведь это вера в кровную заинтересованность каждого. Почему же безответственность?

— Кровная заинтересованность не означает, что агроном должен за пастьбой следить, а зоотехник за строительством. Конечно, каждый обязан отвечать, но только за свое дело! Понимаешь, за свое! Ты пойми: любая отрасль с годами становится сложнее, требует все больше специальных знаний. А тут еще народ постоянно убывает. По-моему, сейчас нужна какая-то четкая перегруппировка сил и спрос с каждого работника за его дело, а не за чужое. Может, Кустов и сам это чувствует, недаром организовал безнарядные звенья, недаром за строительство хватается, как за соломинку, ни с чем не считаясь. Беда, что привычки у него старые: теперь на крике да ругани далеко не уедешь, и самоуправства никто не любит — все грамотные стали... Вообще, конечно, сложный он человек — Кустов. Раньше никак не думал, что мелочный, а, оказывается, он и по мелочам мстить не стыдится.

— А я вот завтра сама к нему ругаться пойду, — решительно заявила Люба.

— Не стоит, Любушка! — испугался Мокрецов. —

Накричит он на тебя — и только. Лучше как-нибудь по-другому все уладить....

— Тихой сапой, да? — усмехнулась она. — А мне все кажется, что воевать надо с открытым забралом.

Больше они не возвращались к этому разговору, но желание побывать у Кустова, а может быть, и у Сакина, не угасало в Любе. Ее все сильнее тянуло прямую поговорить с этими людьми и в доверительной беседе доказать свою правоту.

Зная, что Кустов любит посидеть в конторе спозаранку, она, проводив мужа на ферму, забежала к председателю еще до восьми утра. Кустов, сосредоточенно склонившись над бумагами, недовольно поднял на скрип двери голову, но, заметив учительницу, сказал просто:

— Заходи, Люба. — Поднялся из-за стола, протянул руку. — Догадываюсь, с чем пожаловала. Из-за квартирантов? Нажаловался на меня муженек?

— При чем тут жалобы, Владимир Анатольевич? А только я считаю: нехорошо это, несправедливо так преследовать нашу семью.

— Несправедливо? — голос Кустова загустел. — А я-то, старый дурень, думал, что за халатность, за нерадивость да за пьянку наказывать полезно...

— Не за это вы наказываете его, Владимир Анатольевич, не надо меня обманывать! Я прекрасно знаю, за что! — выпрямилась Люба, и Кустов невольно загляделся на ее сверкавшие гневом пронзительно синие глаза.

«Вот бы какого мне зоотехника-то! — восхищаясь Любой, подумал он. — Не то что размазня Мокрецов. Порох! Характер! Повезло дураку, крупно повезло!»

Вслух же сказал спокойно, даже доверительно:

— Сводку имеешь в виду? Так ничего и не понял твой благоверный... Ну вот что, из колхоза мы его не гоним, опыта да ума поднаберется — возьмем на старую должность. Все в его руках. Станет человеком, а не рохлей — так, может, еще и в этом вот кресле посидит. — показал на свой стул. — А может, и выше поднимется. И ты ему в таком деле помочь сумела бы, коли заинтересована: вон взрывчатки-то в тебе сколько, характера! Любит тебя? — неожиданно мягко, по-отцовски спросил председатель.

Смешавшись, Люба опустила глаза, тихо ответила: — Любит...

— И добро! Ты для него много сделать можешь, раскисать только не давай. Я человек прямой, колючий, однако есть и у меня слабина: хороших, дельных работников уважаю. Вот пусть для начала выведет Раменскую ферму в передовые. Пусть там все по науке устраивает — мешать не стану. А коли за пятидневку на двенадцать килограммов надои начнет спускать, уволю, не погляжу, что молодой или какой он там специалист! Работа мне, Люба, нужна, работа! Год нынче трудный, ох, трудный...

Могучие плечи Кустова вдруг как-то резко поникли, и Люба, взглянув на председателя, на его седые брови, изборожденное морщинами лицо, вдруг остро, по-бабьи пожалела его, и свои заботы показались ей на миг такими мелкими, обыденными, что краска стыда залила щеки. Подумаешь, квартирантов испугалась! Люди десятками лет в коммуналках жили — не жаловались.

Она торопливо встала, но Кустов жестом остановил ее.

— А что касается строителей, живите спокойно. Найдем им место, — он вдруг широко, по-доброму улыбнулся. — Признаться, со злости я твоего Колю напугал. Тоже, видать, нервы сдавать стали. На ферму шел — и в уме не было ничего такого, а как узнал, что надои вниз покатались, да глянул на него, — как первоклассничек нашкодивший у стенки стоит — ах ты, думаю, котенок двухметровый! И вырвалось...

Председатель озорно подмигнул Любе:

— Не говори про это ему!

— Не скажу, — облегченно рассмеялась она.

Окрыленная неожиданным успехом своих переговоров с Кустовым, Люба забежала домой, торопливо замочила белье в оцинкованной ванне и принялась готовить обед, то и дело поглядывая на часы. Теперь ей почему-то казалось, что и с Сакиным все будет просто. Что ему стоит отпустить Настю с работы, если она покроет растрату? Тем более, что, по словам Насти, он и сам на этой растрате крепко погрел руки.

И все же она не сразу решилась перешагнуть порог старого двухэтажного дома под красным флагом: слишком памятливы были сверлящий взгляд, узкая потная рука и медовый голосок предсельпо...

Сакин стоял у окна кабинета и живо повернулся навстречу.

— Кого я вижу! — протянул он, расплываясь в улыбке, но в то же время подозрительно оглядывая учительницу. — Надежда школы! Луч света, так сказать, в нашем царстве! Прошу, прошу, уважаемая, вот сюда, в креслице, тут помягче будет. Я в окошечко гляжу... Куда, думаю, наша Любовь свет Андреевна направляется? А она — ко мне! Радость, право, радость. Так каковы дела на педагогическом фронте? Как подвигается всеобщее среднее? С такими балбесами, как мой Петька, не скоро сладишь. Упустил я его, каюсь — упустил. Не слежу. Да по правде сказать, и некогда. Работы столько, поворачиваться не успеваешь...

Люба в замешательстве смотрела на сухощавую, подтянутую фигуру Сакина, на его узкое лицо, правильные черты которого портили хитрые, подозрительные глазки, и не знала, как прервать его пустословие.

— Сыном интересоваться не мешало бы, — наконец нашлась она. — Но сегодня я по другому вопросу. В семье Осокиных, как вам, вероятно, известно, сложились ненормальные отношения...

«Что я несу? — испугалась и одновременно возмутилась собой Люба. — Не так надо с ним разговаривать! Совсем не так!»

— У Насти? — лицо Сакина приняло озабоченное выражение. — Что-то слышал. Сигнал своевременный и правильный. Проведем с ней индивидуальную работу, как с постоянным кадром Раменского сельпо... — Он слегка наклонился в сторону учительницы. — По секрету скажу. Есть мнение, что и на работе у нее не все гладко. Путаает, понимаете ли, свой карман с государственным. Наверно, придется делать оргвыводы.

— Вот и подпишите ей заявление на расчет. Ведь оно давно у вас лежит.

— А это, голубушка, дело наше. Захотим, так и подпишем, а нет, так и поработать заставим.

«Господи, зачем я здесь? Последний день каникул, полный угол грязного белья, все выстирать точно не успею. А он... он — вроде болота: кинешь камень — проглотит — и опять как ни в чем не бывало».

— Послушайте, Сакин! — встала с кресла Люба. — Я знаю, кто втянул Настю в незаконные торговые махинации. Втянули ее вы и теперь шантажируете, принуждая

жить с собой. Я требую — слышите! — требую, чтобы вы немедленно подписали ее заявление. У нее — дочи!

— Вот оно, значит, какой ажур выходит? — Сакин резко развернулся, насупившись, сел за стол. — Вот, значит, как, — повторил он. — Я, грешным делом, подумал, что вы за советом ко мне. А вы с камнем за пазухой... Да и камешек-то какой... кругленький! Нехорошо, Любовь Андреевна, в ваши-то годы. Не ажур. А потому скажу: в наши торговые дела не мешайтесь. На то ревизоры есть. Вот вы ко мне с такими, извините, обвинениями... А доказательства у вас имеются?

— Мне Настя все рассказала.

— Ах Настя рассказала? Настя расскажет! Ей сейчас неминуемая за решетку садиться, так она за соломинку ухватилась. Человека пачкает! Не выйдет, Любовь Андреевна! И довольно некрасиво с вашей стороны использовать сплетни. Хотя неудивительно... Не зря вы с Настей спелись. Рыбак рыбака...

Люба вспыхнула.

— Вы не оскорбите меня, Сакин. Предупреждаю: все, что знаю, сообщу в райком партии,

— Эх, горячка! — вновь улыбнулся предсельпо, хотя во взгляде его мелькнула тревога. — Сразу уж и в райком... Да кто вас там слушать-то будет!

Люба стремительно вышла из кабинета.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Отошла, отодвинулась в прожитое первая школьная четверть, а Любу все не покидала глухая душевная боль.

Дела на ферме у Николая не ладились, он во всем винил Кустова, и Люба порой начинала сомневаться в правдивости председателя, хотя и не забывала его совета повлиять со своей стороны на мужа. Но все ее разговоры о делах на ферме наталкивались на крепнущую, как ей казалось, стену отчуждения. Она видела, что Николай все больше теряет веру в себя, все чаще приходит домой мрачный. Понимала и то, как больно, сама того не желая, ударила по самолюбию мужа, отправившись против его воли к Кустову просить, чтобы не подсеял квартирантов. Ранил его даже не сам этот

визит, а то, что она легко добилась успеха там, где он оказался бессильным.

Ласками, преувеличенным вниманием пыталась Люба отвлечь мужа от мрачных мыслей. Порой это удавалось. Николай становился прежним, шутливым и беззаботным, но ненадолго. И она стала всерьез подумывать о предложении Мокрецова уехать из Раменья, тем более что он сам, как видно, не расставался с этой мыслью.

Конечно, до конца учебного года и думать об отъезде нечего. Ну а потом? Рано ли, поздно ли, решать этот вопрос придется. А между тем Раменье незаметно, исподволь входило в ее плоть и кровь. Школа привязывала ее все больше и больше, и она уже не могла представить себя без своего девятого класса, без ребят, каждый из которых стал по-своему близок ей.

Та же Нина Осокина — как с ней быть? Поездка в райком, которой учительница сгоряча пригрозила Сакину, так и не состоялась. Люба поняла, что там тоже потребуют доказательств, которых у нее не было. И вины с Насти не снимешь.

В конце концов Люба решила переговорить обо всем с Варварой Николаевной, хотя и не предполагала, конечно, что стоит Ворониной вмешаться, как все образуется само собой. Мокрецову директриса помочь бессильна: его дела не связаны со школой. Но, может быть, она сумеет как-то повлиять на Сакина... Да и Петю надо вырывать из-под влияния отца.

Но когда она после уроков толкнулась в директорский кабинет, дверь оказалась закрытой. Люба вдруг сообразила, что не видела Варвару Николаевну со вчерашнего дня.

— Да ты с неба, что ли, свалилась? Воронина еще вчера в Коврово укатила, на совещание, — ответила на ее вопрос, где директриса, Зинаида Федоровна.

— Вот незадача! — расстроилась Люба. — Как не вовремя! Так хотелось поговорить!

Дома она пообедала, накинула фуфайку, платок и подхватив в сенях тяжелую корзину выстиранного с вечера белья, отправилась на реку. Плот, с которого полоскали раменские бабы, стоял почти у моста через Ковровку, и ей пришлось пересечь всю деревню до дома Куликовых, где от большой дороги сворачивала на

берег извилистая тропа, протянувшаяся мимо Раменской фермы.

Люба осторожно спустилась к воде по раскисшей глине и ступила на широкий массивный плот. Оглядев пустынный берег и мост, будто придавленные низким слякотным небом, она невесело усмехнулась: «Хоть тут повезло, зрителей не будет!»

Медленно стянув перчатки, Люба подула на руки, представляя, как через минуту зайдутся, занемеют от холода пальцы, и тут же, попрекнув себя за малодушие, вытащила из корзины скрученную жгутом простыню и звучно шмякнула ее в стылую воду.

Руки и впрямь зашлись, но ненадолго. Вскоре они привыкли к холоду, а от энергичных движений Любе стало даже жарко.

Неожиданно плот резко качнуло. Чуть не потеряв равновесие, Люба испуганно ухватилась за бревно и оглянулась. Рядом, широко улыбаясь, стоял Мокрецов.

— Тише, дурной! Утопишь! Откуда ты взялся?

— Проинформировали, понимаешь. Наши доярки ворону мимо фермы не пропустят, а тут такое зрелище: жена заведующего бельишко на речку поволокла! Что меня-то не дождалась?

— Зачем белью киснуть? Благо из школы сегодня пришла пораньше.

Они вместе отжали и уложили белье. Глядя, как муж легко шагает в гору с пудовой корзиной, Люба вдруг ощутила, что ей приятно идти вот так — след в след за ним, приятно, что Николай, бросив все дела, примчался на помощь.

— Какие новости в школе? — на ходу спросил Мокрецов. — Что там твоя Осокина?

— Одумалась вроде. К урокам стала лучше готовиться.

— Ишь ты! Подействовало твое внушение? Да, кстати... На ферме болтают, будто в сельпо ревизоры приехали.

— В самом деле? Ну, пропала Настя! Говорила же ей: рассчитывайся, пока не поздно! Неужели до суда дойдет?

— Кто знает? Смотря какая растрата.

— Нина, Нина... Вот не везет! Только было успокаиваться стала. Добежать мне, что ли, до нее, проведать, как ты думаешь?

— Ну что ты ей скажешь? «Все пройдет, как с белых яблонь дым?..»

— Да, пожалуй...

Но, развешивая возле дома белье, Люба снова засомневалась. Может, все же следует навестить Нину? С другой стороны, ужин надо готовить... «Скоро как Чапай рассуждать начну. Это одно, а второе — то...» — невесело улыбнулась она.

Нелегкая все-таки доля — разрываться между ребенком, мужем и школой. Каждый всей души требует, а душа-то одна. «Ну, расклеилась, кисейная барышня!» — упрекнула себя Люба.

Развесив белье, она принялась за ужин: растопила плиту, почистила картошку. К половине шестого все было готово, только в печке золотилась еще большая грудa углей, и Люба не стала совсем закрывать трубу, чтобы не напустить угара. Собираясь к Тюрехе за Ванюшкой, на секунду задержалась перед зеркалом: лицо осунулось, резче проступили скулы, синие глаза стали еще больше. «Посмотрела бы мама: до чего дошла, одни глаза!»

Скрипнула дверь, заглянула Нина.

— Любовь Андреевна, можно к вам на минутку?

— Что случилось, Нина? Заходи скорей.

— Маму арестовали...

Люба бросилась к ней.

— Ты только не волнуйся, не расстраивайся очень, — она пыталась успокоить Нину, но не могла найти нужных слов. Да и какие слова могли утешить в таком горе?!

— Не могу домой идти. Пусто там... — тихо сказала Нина.

— И правда! Нельзя тебе сейчас одной оставаться, — поддержала Люба. — Давай к бабушке Тюрехе заглянем... Заберем Ванюшку, а потом вернемся, поужинаем вместе, поговорим...

Нина молча кивнула. Минутный магазин, закрытый на всякие замки, они вышли на дорогу, с трудом перебравшись через глубокие колеи. Тяжелый мокрый снег, падая, тут же таял в мазутной жиже.

Между грядок в огороде Тюрехи тоже образовались лужицы. Вымыв в одной из них сапоги, Люба и Нина поднялись на чистое крыльцо.

— Ты, Любушка? — донесся из кухни бабкин голос. — Раненько сиди. Ваня-то еще спит...

— А мы у тебя посидим, бабуля, — отозвалась Люба.

— Ну так и добро! — Тюриха выглянула из-за печки и, заметив Нину, засуетилась. — Раздевайтесь, девки! Гли-ко, вы баские-то какие... Вешай, Нинушка, пальто на гвоздик да садись. Самовар нараз скипит, он у меня шебутной, гостей любит! Вот и умница, вот и молодец, славутница ты моя! — нахваливала она девушку, усаживая ее за стол. И когда Люба скрылась за занавеской, за которой спал Ванюшка, предложила: — Ты, деушка, ночуй-ко у меня, чего одной-то в пустом доме горе мыкать!

— Что вы, бабушка! Корова не доена, куры не кормлены. Печь истопить надо, воды натаскать...

— Эка беда! Вместе и сходим. Долго ли вдвоем-то обрядиться... Тяжелое чего не под силу, а по дому так я управлюсь. Ладно ли?

— Спасибо, бабушка.

— Запел, запел у меня самовар стаканович! Ну беда, и Ваня запел! Воно как весело в дому-то у бабки сделалось...

— Ванюшка что-то горячий. Неужели заболевает? — вышла из-за занавески встревоженная Люба.

— И верно, девка, с утра он невеселой, покашливал, да и поел худенько. Поди-ко простыл. Эка напасть! Дверь-то еще все не изладили? Просряжался твой-то до белых мух. Вот я его ужю пропесочу. А пока дай-ка я травки заварю. Попоишь парня — нараз и пройдет.

После чая Нина засобиралась домой. Бабка Тюриха успокоила Любу, что не оставит Нину одну.

— Я тоже к тебе вечером загляну, — пообещала Люба.

— Не надо, Любовь Андреевна! До меня ли вам! Ванюшка болеет... Ничего не попишешь, надо как-то жить. Школу вот только бросить придется — жалко...

— Как это — бросить? — возмутилась учительница. — И не думай!

Нина невесело усмехнулась:

— А за меня теперь думать некому. И кормить меня некому. Так что устроюсь на ферму. Пообвыкну, а там — в вечернюю...

— Ой, Нинушка, золотая твоя головушка! — ласко-

во пропела Тюриха.— До чего славно рассудила, как большая! Оно, конечно, пала тебе долюшка... А ты за людей держись, с людьми никакая ноша не затяжелит.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Вечером Люба сидела как на иголках. Она обложила Ванюшку компрессами, напоила горячим молоком и настоем бабкиной травы, закутала потеплее, почти не слушая мужа, который рассказывал что-то, по-видимому, важное для него.

— Коля,— перебила она.— Побудь, пожалуйста, с Ванюшкой, он уже засыпает. А я к Нине сбегаяю на минуточку — беда у нее.

Мокрецов бросил на жену недовольный взгляд:

— Коли тебе на меня и мои дела наплевать, так хоть о сыне подумай! Не к Нине надо бежать, а к фельдшеру! И вот мой сказ: уйдешь к Осокиным — после тебя минуты дома не останусь. У меня тоже хлопот по горло.

Люба виновато посмотрела на мужа, вздохнула и присела к столу, вынимая из поношенной сумки тяжелые пачки тетрадей.

— Ладно,— глухо сказала она.— К фельдшеру бежать пока не стоит. Ванюшка пропотел, температура вроде спадает. Так что там у тебя на ферме стряслось?

— Ничего! — буркнул Николай, устраиваясь на диване с книгой.

Минут пять протянулось в молчании, слышно было, как тикает будильник на тумбочке. Потом Мокрецов беспокойно заворочался, сел.

— Не могу, когда у тебя такой убитый вид. Ладно, топай к своей сироте, посижу я.— Он обнял ее за плечи.

Люба потерлась затылком о его подбородок.

— С ней бабушка, одну не оставит. Так что там у тебя на ферме?

— Парторг сегодня заходил, Морозов...

— Ну и что?

— «Как агитатор у тебя работает? Ходит, вижу, вижу. Наглядная агитация обновлена согласно моменту», — изобразил Николай Морозова.— А сам жметесь, мнетесь... Чувствую, не за тем пришел. Потом шутливо

так: «А ты, Коля, и носа в партком не кажешь, уединился тут...» Ну, я ему в том же духе: что, мол, зря-то ходить, все решено и подписано, а что подписано пером, того не вырубишь топором. «Не всегда, не всегда!» — отвечает. — Нам молодые образованные кадры нужны. Стиль руководства — явление изменчивое, а хозяйство на научную основу ставить рано или поздно придется».

— Неужели перемены ждут?

— Я тоже прикинул: ведь отчетно-выборное колхозное собрание не за горами.

Люба теснее прижалась к широкой груди мужа. Ох, как нужны им перемены! Как нужны! На нервах долго ли протянешь? А сколько людей в том же Раменье мучаются, ждут будущего то с надеждой, то со страхом. Хоть бы и Нина... Одна вот теперь осталась на всем белом свете. Пусть серьезная, рассудительная, да ведь пятнадцать лет! Надолго ли хватит ее рассудительности? А с горя чего не натворишь... Главное, не оставлять ее сейчас в одиночестве.

Люба вспомнила себя в первые дни после похорон матери и содрогнулась. Как тяжело, как невыносимо пусто и страшно было тогда! А ведь она постарше была, институт заканчивала. Так каково же Нине! У нее к одиночеству еще и позор впридачу. А хозяйство? Ребят, ребят надо звать на помощь...

Наутро Люба расспросила Тюриху и, узнав, что Нина почти не спала ночь, попросила остаться после уроков всех тех девятиклассников, на которых могла положить: Томку Кустову, Веру Морозову, Витю Бирюкова, Илюшу Телицына, Колю Куликова. Все они знали уже об аресте Насти Осокиной и сидели серьезные, догадываясь, о чем будет говорить учительница. Она начала без предисловий:

— Ребята, у Нины беда. Как помочь, честно говоря, сама не знаю. Давайте думать вместе, для того и остаться попросила.

— А чего думать! — тряхнула рыжей головой Томка. — Отец говорит, что раз Настю до суда арестовали, так большой срок дадут, а имущество конфискуют. Предлагаю устроить Нину в интернат. С колхозом Варвара Николаевна договорится, чтобы платил за нее — и все!

— Правильно! — поддержал Томку Куликов.

— Колхоз, может, и согласится платить, — сказала

Вера Морозова, — да только если гарантия будет, что Нина после школы в Раменье останется. А захочет ли? Вроде в институт собиралась.

— Поговорить с ней надо. Нельзя так... за нее решать, — строго заметил Илюша Телицын.

— Это я на себя беру, — заверила Люба. — И с Ниной, и с Варварой Николаевной поговорю. А пока суд да дело, надо Осокиной в другом помочь. С хозяйством ей трудно: и печь, и вода, и корова, куры... И главное, чтобы она не чувствовала себя одинокой, брошенной. Одну ее оставлять нельзя ни в коем случае. Что если распределиться нам, организовать вроде дежурств у Нины?

— Нет, — покачал головой Илюша. — Сразу догадается, что это нам вроде задания на дом, по обязанности. Лучше всем вместе к ней после уроков приходите. Ребята что потяжелее сделают, а девочки пусть ночевать у Нины остаются...

— Голова! — уважительно отозвался Бирюков и тут же не удержался, ляпнул: — Нам-то нельзя ночевать?

— Много захотел! — засмеялась Томка, вставая из-за стола. — А вообще-то Илюшка прав.

— Насчет ночлега не знаю... — засомневалась Вера Морозова, потупившись. — Мне лично дома не разрешат. А так, что ж...

— Спасибо, ребята! — обрадовалась Люба. — Тогда идите по домам, объясните там все, подготовьтесь к урокам, а вечером — к Нине. Я тоже вас постараюсь навестить. А сейчас зайду к Варваре Николаевне...

— Садись, — басом пригласила Воронина, не отрываясь от бумаг. — Насчет Осокиной?

— Как вы догадались? — опешила Люба.

— Гляжу я на тебя, Лебедева (директриса все еще называла ее девичьей фамилией), гляжу и диву даюсь: думаешь — одна ты всему Раменью утешница да зашитница?

— За что вы на меня так, Варвара Николаевна? — обиделась Люба.

— За то! — пророкотала Воронина. — Сакин на днях звонил, жаловался. Обвиняешь черт знает в чем! Теперь он тебя в покое не оставит...

— И буду обвинять! — взорвалась Люба. — Он еще жаловаться смеет! А кто как не он посадил Настю Осокину? Кто Нину сиротой сделал?!

Воронина спокойно, с чуть приметной усмешкой выслушала ее.

— Все? Выпустила пары? Так ведь и не поняла, за что я тебя браню. Не за то, что к Сакину да Кустову бегаешь отношения выяснять. Не мигай, не мигай, Кустов мне тоже сказывал, шуткой правда. Не за то! А за то, что везде одна, не посоветовавшись, не зная броду. Ты, голубушка, можно сказать, все дело испортила, когда Сакину пригрозила. Спугнула его. Он документацию, само собой, перешерстил, подчистил после твоего визита, а потом ревизоров вызвал. Теперь сухим из воды выйдет! Если что и припишут, так халатность да попустительство. Соображаешь?

— Да если бы не он, разве бы Настя так опустилась? Он ведь опутал ее, как паука, обманом опутал. У него все на обмане, вся жизнь!

— А вот это, извини, лирика. Скажи: ты бы на месте Насти опустилась?

— Еще чего не хватало! — возмутилась Люба.

— То-то и оно. И Настя не младенец, знала, на что идет, ведала, что отвечать придется.

— Значит, по-вашему, все правильно? Пусть подлец обманывает, лжет и благоденствует, хотя утопил человека у всех на виду?

— Ну вот что... Спорить мне с тобой некогда, надо к выступлению на партийном собрании подготовиться. Будем как раз обсуждать твоего Сакина. Секретарь райкома обещал приехать. — Воронина вновь склонилась над бумагами и как бы мимоходом добавила: — Думаю, что в председателях он последние дни ходит.

— А Насте, значит, никак не помочь?

— Теперь нам с тобой не о матери — о дочери надо думать, — как отрубила Воронина.

— Так я как раз из-за Нины и пришла, — ухватила Люба.

— Что еще?

— У класса такое предложение: надо Нину устроить в интернат до окончания школы.

— Сообразили. Кто платить будет? Ты?

— Если понадобится, и я. Но думаю, что с колхозом можно договориться. Все равно Нина на ферму собирается. Им же лучше, если образование получит да в колхозе останется.

— Останется — не останется, бабушка надвое сказа-

ла. Кустов тоже по-всякому рассудить может, знаешь его норы. Ладно, позондирую почву, — пообещала Воронина.

Выйдя из школы, Люба поразилась тому, как все переменялось кругом. Еще ночью внезапно ударил крепкий мороз и затянул лужи непробиваемым льдом. Но утром земля казалась каменно-серой, а сейчас словно обросла лебяжьим пухом. Снег шел весь день — сухой, колкий, настоящий зимний снег, которому не суждено растаять до весны, и глаза отдыхали, охватывая радостный белый простор. С реки доносились крики и визг раменских ребятишек: дождались-таки перволедья.

Когда Люба, побывав у Тюрихи, с сыном на руках вошла в коридор своего дома, ярко освещенный лампочкой, в глаза бросилась обитая дерматином дверь в комнату. Оттуда слышались громкие голоса. За столиком сидели Мокрецов и Лунин.

— Ты, Андреевна, не сердись. Потому как двери изладили, это одно, а второе то... — поднялся навстречу Валентин.

— Да я ничего, — рассмеялась она, раскутывая Ванышку. — После работы, говорят, можно...

Люба поужинала, наотрез отказавшись от налитой стопки, и вместе с сыном собралась к Осокиным. Перед уходом строго наказала мужикам не искать по деревне вторую бутылку.

Едва замолкли ее шаги, Чапай подмигнул Мокрецову:

— Чего искать? Искать не станем. Она, родимая, давно у меня в кармане сучает!

Но Николай решительно остановил его:

— Оставь ее себе. А мне хватит.

...Во всех окнах осокинского дома горел свет. Одноклассники Нины сдержали слово и собрались у нее. Больше того, не только раменцы, но и девочки из интерната заглянули на огонек. На столе пыхтел самовар, и раскрасневшаяся Нина наперебой угощала всех чаем.

Учительнице освободили место в переднем углу, под голубым абажуром.

— Вы, друзья, с хозяйством Нине помогли управиться? — поинтересовалась Люба.

— А как же! — бойко ответила Томка. — Корова подоена, куры сыты, печка истоплена, пол вымыт...

— И снова затоптан, — оскалился Витя Бирюков.
— Дров накололи, — скупое добавил Куликов.
— Ну молодцы! А питаешься, Нина, одним чайком?
— Разве не чуете, как пахнет? — высунулась из кухни Аля Шабанова. — Пирог скоро поспеет.

— Что это, на ночь глядя?
— В Коврово завтра поеду. — Нина, потупившись, провела пальцем по скатерти.

Люба смутилась: могла бы и сама догадаться. С минуту длилось неловкое молчание.

— Снегу-то сегодня сыпануло! — прервала его Томка. — Красота!

— Да, опять зимы дождалась, — заметил Илюша. — Зима да зима и — прощай школа!

— Ты, Илюша, после десятого куда собираешься?

— В сельскохозяйственный обещают направление дать.

— А ты, Коля?

— Меня учиться не тянет, — ответил Куликов. — На курсы трактористов пошлют — и ладно. Пусть уж Илюшка с Витькой по институтам ошибаются.

— Какие там институты! — засмеялась Аля Шабанова. — Витя в летное училище нацелился.

— Правда? — удивилась Люба. — А я, признаться, думала, что Куликов в военное метит.

— Никола у нас миролюбивый, — съязвила Томка. — Сын земли! Зато из Витьки жени-их выйдет! Весь в золоте, в петлицах крылышки...

Все засмеялись. И в шуме не расслышали, как отворилась дверь. Порог переступил Петька Сакин. На сапоги его налип снег, пальто местами намокло и оледенело. Смех, словно замороженный, смолк. В избе повисла настороженная тишина.

— Зачем явился? — спросила Нина голосом, не предвещавшим ничего доброго.

Петька неловко затоптался у порога.

— Там, это... воды бочонок с Ковровки притащил. В сенцы бы занести, застынет на улице, — посмотрел жалобно он на Нину.

— Катись ты со своей водой знаешь куда?!

Сакин быстро повернулся, взялся за скобу.

— Подожди, Сакин! — требовательно остановила его Люба. — Ребята, помогите ему!

Первым сорвался с места Илюша, за ним поднялись Куликов и Витя.

— Зачем ты так, Нина? — мягко упрекнула учительница. — Петька же не виноват, он за отца не ответчик.

Нина распрямилась, как пружина:

— Ручку мне ему пожать? Извиниться, может? Уж и в своем-то доме не могу делать, что захочу! В указчиках не нуждаюсь! Уматывайте! Все!

— Нинка, опомнись! — одернула ее Томка.

— А ну вас! — всхлипнув, Нина выбежала из комнаты.

Следом за ней ушли в спальню Томка и Аля Шабанова. В довершение ко всему громко заплакал Ванюшка, и Люба предложила оставшимся:

— Пожалуй, и верно — лучше нам разойтись.

Торопливо оделись, в дверях столкнулись с ребятами, помогавшими Петьке.

— По домам, по домам, — заторопила их учительница. — Дайте Нине отдохнуть, успокоиться. Да и поздно уже...

Все, кроме Томки и Али Шабановой, которые остались ночевать у Осокиной, гурьбой вывалили на заснеженную улицу. И хотя в темноте фигуры ребят угадывались с трудом, Люба заметила, что Петька по-прежнему держится на отшибе.

— Проводи меня, Петя, — попросила она.

— Мы все проводим! — ревниво сказал Илюша.

— Нет-нет, всем незачем!

Ребята отстали.

Петька шел впереди, ощупывая ногами занесенную тропинку.

— Ты на Нину не обижайся, — мягко сказала учительница. — Сам понимаешь, каково ей теперь.

— Да я ничего... — глухо ответил Петька. — С чего ей добренькой быть? Особенно со мной...

— Будет! Будет и доброй, если от людей, от всех нас больше добра увидит. Сердце-то у нее золотое, страдалась только не по годам. Грубость ее сейчас — вроде болезни, что ли. А вылечат ее тепло, ласка, доброта. Лишь бы у вас, у одноклассников, терпения хватило добрыми да заботливыми быть.. Ну вот я и дома. Спасибо, Петя. Тебя тоже заждались, наверно, времени-то десятый час.

— А ну их! — Петька пнул ногой комок снега и, сунув руки в карманы, ссутулившись, побрел по деревне.

Идти домой ему не хотелось. Последние дни отец глядел волком, цеплялся к каждому слову. И сейчас, отворачивая лицо от встречного со снегом ветра, Петька вдруг почувствовал себя страшно одиноким, наверное, больше, чем Нина, которая все-таки осталась в родной избе с девчонками. И обида, сглаженная было словами учительницы, вспыхнула вновь:

«Тепло, доброта, как же! Что, не по добру, что ли, я к Осокиной явился? Воды из Ковровки привез, санки в гору пер, вымок весь. А она... На посмешище выставила! Да и остальные... Небось не сказали, что Нинке помогать срядились, будто и не в одном классе учимся...»

Однако, виня ребят, он понимал, что неправ. Не могли его позвать одноклассники после того, что случилось с Настей Осокиной по вине его отца, а в вине отца Петька не сомневался. Спасибо, хоть совсем не оттолкнули. Вон учительница — даже проводить ее предложила не кому-нибудь, а ему, Петьке. Ни разу худого слова от нее не слышал, все с добром... Видно, такая она и есть: верит, что добром да лаской всего добьешься.

Тогда отец, значит, врет. Сколько раз учил: «Ты, Петруха, рта не разевай! Попадет кусок — придержи, потому как всех не накормишь, а сам голодный останешься. Учти: жизнь — дело хитрое. Надо ежели — на принцип вставай, а не надо — и сквозь пальцы погляди, вот и будет ажур. За правдой не гонись, потому как всегда тот прав, у кого больше прав!»

А учительница не хитрит, не вывертывается, все по правде: что на уме, то и на языке, ко всем с добром. Не слепой ведь он — видит! Наверно, так и положено жить на свете: не с показным добром, когда оно выгодно, а с настоящим. Ты к людям с добром да с лаской, а они к тебе — вдвое! Твое маленькое доброе дело как бы в квадрат возводится и к тебе же большим возвращается. Но тогда выходит, и зло, и хитрость тоже в квадрат возводятся? Нагадил людям — и сам получай, да только в квадрате...

Все эти мысли растревожили его. Возле калитки Петька задержался. В груди пекло, и он прежде чем

войти в дом, сжал комочек пухлого снега и сунул его в рот.

Мать из кухни показала знаками, чтобы к отцу он не совался. Но, привыкший поступать наперекор, Петька, повесив пальто и шапку, решительно шагнул в комнату. За столом, облитым водкой и супом, понуриив голову, сидел Сакин старший. Заметив сына, он пьяно потянулся рукой к почти опорожненной бутылке.

— Петька... Давай выпьем, Петька! Садись. Все расскажу... Все! Они думают — хана Сакину. Не-ет, братцы, шалишь. Сакин непотопляемый! Он всех вас купит, продаст, да еще раз купит! Не пропадет Сакин! — Но вдруг с хвастливо-вызывающего тона перешел на слезливый: — Строгача влепили, сынок! Влепили твоему отцу строгача с занесением... С работы снимут. Как жить станем, сынок?

— Допрыгался! — Петька ненавидяще поглядел в пьяное лицо отца и ожесточенно сплюнул на пол.

* *
*

Бабке Тюрихе не спалось. Устав ворочаться на горячей лежанке, она, кряхтя, сползла на пол, выпила из ковша холодной воды. Сунув враз озябшие ноги в валенки, села на лавку. От пышного снега ночь превратилась в призрачно-белую, и дома Раменья грустно темнели старыми стенами под снеговыми шапками крыш.

Свет горел только в одном окне, рядом с колхозной конторой.

— Не спит Любушка, экая-то молоденькая! — пожалела бабка свою бывшую квартирантку и, покрестившись на невидимый в ночи образ, снова полезла на печь...

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Старый дом	7
Встречи с Валентином Золиным	17
Превышение пределов	32
Три рубля сдачи	39
Шушера	50

Повесть

Рамсньё	59
-------------------	----

Елесин Василий Дмитриевич

РАМЕНИ

Рассказы и повесть

Рецензент

Н. К. ЖЕРНАКОВ

Редактор

В. К. ЛИХАНОВА

Художник

С. Н. СЮХИН

Художественный редактор

А. С. МАЗУРИН

Технический редактор

Н. Б. БУЙНОВСКАЯ

Корректоры

Г. В. СМАГИНА, В. А. ФОКИНА

ИБ № 608

Сдано в набор 13.05.85 г. Подписано в печать 31.10.85 г. ГЕ05721,
Форм. бум. $84 \times 108/32$ (бум. тип. 1). Гарнитура литературная.
Высокая печать. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 10,342.
Уч.-изд. л. 9,935. Тираж 15000. Заказ 6045. Цена 80 коп.

Северо-Западное книжное издательство,
Вологодское отделение, 160000, Вологда, Урицкого, 2.
Областная типография, 160001, Вологда, Челюскинцев, 3.

В 1986 ГОДУ
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
ВЫХОДИТ

ПОЛУЯНОВ И. Д.
СОЛНЦЕВОРОТ

Автор многих книг, выпущенных Северо-Западным и центральными издательствами, И. Д. Полуянов хорошо известен читателям как знаток северной природы. Его получивший широкое признание «Месяцеслов» выходит в новой книге третьим дополненным изданием с фотоиллюстрациями автора. В сборник, который издается к шестидесятилетию писателя, включены также повести «Последний круг», «Между росами», «Рябой», «Весна». Книга оформлена вологодским художником Э. В. Фроловым.

В 1986 ГОДУ
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
ВЫХОДИТ

БАГРОВ С. П.
РЯБЧИКИ НА ЗАВТРАК

В новую книгу вологодского прозаика, которая издается к пятидесятилетию писателя, вошли повести и рассказы о сегодняшнем дне Нечерноземья, о делах и заботах его тружеников. Автора интересует прежде всего нравственная сторона отношений между людьми, проявление человеческих характеров в обычной будничной обстановке.

